



Собрание сочинений

Юзеф Игнаций
Крашевский

*Орбека
Дитя Старого Города*

Юзеф Игнаций Крашевский
Орбека. Дитя Старого Города

«Э.РА»

1867,1863

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю.

Орбека. Дитя Старого Города / Ю. Крашевский — «Э.РА»,
1867,1863

ISBN 978-5-99062-277-7

Роман «Орбека» относится к реалистической части наследия Крашевского. К тому же автор выступает тут как психолог. В нём показана реальная жизнь Варшавы XIX века. Роман посвящен теме любви. Шляхтич Орбека одиноко живёт в своей деревне. Любит книги, музыку, занимается фермерством. Однажды он получает наследство. Его жизнь резко меняется, появляются завистники, он до безумия влюбляется в Миру и готов ради неё на всё... «Дитя Старого Города» открывает серию романов о польском восстании 1863 года. В нём отображено зарождение освободительного движения в 1860 году.

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-277-7

© Крашевский Ю., 1867,1863
© Э.РА, 1867,1863

Содержание

Орбека	5
ROZDZIAŁ I	5
ROZDZIAŁ II	19
ROZDZIAŁ III	25
ROZDZIAŁ IV	28
ROZDZIAŁ V	29
ROZDZIAŁ VI	37
ROZDZIAŁ VII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Юзеф Игнаций Крашевский Орбека. Дитя Старого Города

Орбека

*Maledeto quell'ora che t'ho amato!*¹

ROZDZIAŁ I

Деревенька Кривосельцы, расположенная в околице Седлец, несмотря на маленькие, по сравнению с другими землями этой околицы, размеры, считалась одной из самых красивых и удобных на несколько десятков миль вокруг. Её относили к тем владениям, которые у нас обычно называли *золотыми яблоками*; рыба, грибы, мука, луга, всё в ней было, чего только пожелает душа, за исключением, как говорят, птичьего молока.

С тех времён ещё, когда более дальние связи были затруднительны, а люди приблизиться друг к другу и товары приобретать могли только на больших ежегодных ярмарках, нам осталось то понятие доброго имения, привязанное к земле, которая более или менее все скромные нужды тогдашней жизни могла удовлетворить. Также в эти века почти каждая деревенька, чаще всего с помощью близкого местечка, обходилась сама собой. Жизнь была простая и неизысканная, а те более дорогие необходимые предметы, которых собственный дом дать не мог, переходили по наследству от прадедов, даже бархатные шубы несколько поколений надевало по очереди, вовсе этого не стыдясь. Доспехи, хотя уменьшались плечи, подкладывали всё более толстые лосиные кафтаны, ещё носили, пока бесполезные, ржавые, не вешались на стену. Шляхетский двор отдалённых уголков провинции ещё в XVIII веке вмещал в себя множество ремесленников и все отрасли, служащие повседневной жизни на малой шкале.

Добывали мёд, выливали свечи, варили пиво, ткали платья и ковры; в деревне изготавливали полотна и столовое бельё. Усадьба имела своего кузнеца, слесаря, плотников, портных, сапожников, маляра. Конечно, не были эти ремесленники слишком опытными и искусными, но от них требовали долговечности работы больше, чем изящества и искусства; выходило это, может, дороже, но не оплачивалось наличными, а деньги также были очень редкими и предназначенными, чтобы немного оплётанные шли в местечко. Так собирались капиталы, правда, не приносящие процента, но не растрчиваемые.

Кривосельцы характеризовались тем, что владелец мог в них закрыться, изолироваться и, ничего ни от кого не требуя, жить так, как тогда жить привыкли: без излишних отказов и недостатка первых нужд среднего класса. Малая, но зажиточная деревенька расположилась рядом с речушкой, стремительно текущей к Бугу, над ней лежали премилые её луга, окружённые величественными лесами, наполовину чёрными, наполовину хвойными.

Уцелевшие старые деревья достигали тут чрезвычайных размеров, с которыми только те, что в низинах, как Беловежская Пуца, могут сравниться. Сосны покупали на мачты, а на стволе срубленного дуба могли уместиться два человека и удобно вытянуть ноги. Поля, немного на возвышенности, были плодородными и рождали прекрасную пшеницу; рыбы в речушке и в пруду около усадьбы хватало.

¹ Будь проклято то время, когда я любил тебя (итал.) Тосканская народная песня.

Прежние наследники Кривоселец также хорошо себе выбрали место для строительства усадьбы и посадили деревья, которые теперь её окружали как бы густой и зелёной рощей лип, клёнов, каштанов и пихт.

Усадьба была *more antiquo*, на фундаменте, но деревянная, повсеместно утверждали, что такая здоровей. Дерево, однако же, срубленное в пору, подобранное отлично, высохшее, стояло, как стена, сто лет, не деформируясь и не оседая, а Господь Бог от огня защищал.

Издалека от дамбы был виден один только фасад, тёмный, важный, с крышей крыльца на резных столбах, перед ним, как бы на страже двора, немного подальше стоял огромный деревянный чёрный крест, который поднимал старые деревянные плечи; из гуши деревьев показывалась дальше скромная башенка домашней часовни; за деревьями скрывались гумна и постройки.

Не было в этом всё-таки ничего особенного, ничего, что бы обращало внимание какой-нибудь особенностью, всё-таки, проезжая, каждый себе говорил, заглянув в душу:

– Как тут хорошо и тихо, должно быть!

Да, раньше тишина, этот покой, которого свет дать не может, считался самым дорогим подарком; в тишине хотели проводить эту жизнь Иова, жизнь испытаний и боли, как можно меньше желая, как можно меньше вызывая борьбы и приключений, лишь бы чисто и целым к берегу вечности приблизиться! Тогда ещё была вечность и надежда, сегодня... но это к роману не относится.

Человек брал смолоду в сакву пилигрима ту самую главную направляющую правду, что он здесь недолгий гость, что тут всё слабое и хрупкое, что жизнь – суетна, он сам и люди – слабые, что всё вводит в заблуждение, и что, как пел Кохановский, только добродетель – сокровище, которого никто не заберёт!

Всё ему также в этом свете казалось иначе, реальность была для него сном, а вера в небеса – единственной реальностью. Отсюда совсем иная цена земных вещей и почти монашеская жизнь, без завтра... в лагере!

Более слабые забывались на ночлегах жизни, но бич Божий хлестал, и шли дальше с покорностью. Никто слишком не привязывался к тому, что распалает, возбуждает и ослепляет человека на непостоянство бранных вещей; шли, лишь бы с Богом, в мире, и до доброго конца. Также в таком мире много оживления, суеты, стремлений быть не могло. Зачем стараться? На что заботиться о том, что завтра придётся бросить среди дороги?

Усадьба в Кривосельцах и издалека, и вблизи казалась таким жилищем человека, ожидающего великого часа призвания на суд и перехода в иной мир. Его окружала тишина, двор зарастал травой, одна тропинка до часовни кое-как была протоптана и одна тенистая улица в саду. В доме темно, пусто, глухо; один старый слуга, один мальчик для помощи, старая ключница и немолодой возница.

В течение года и лет тут мало что изменилось; всё так шло однотипно своим порядком, с обычным режимом подобной организации жизни – хоть дни тут бывали невыносимо долгие, годы бежали как стрелы. Одного от другого отличить было нельзя и дат уловить.

В усадьбе более десяти лет жил замкнутый, как анахорет, человек не молодой, не старый, среднего возраста (ему было, может, лет сорок), пан Валентин Орбека. Хотя фамилия звучала по-чужеземски и происхождение также, может, было нездешнее, семья эта очень уже долгие века гнездилась в краю, с ним сраслась и использовала собственный герб и шляхетские прерогативы. Орбеки имели даже весьма хорошие связи. Дед был каким-то мечником, отец – подчашим литовской земли, только пан Валентин, называемый из вежливости подчашичем, ничем быть не хотел.

В молодости, окончив образование, он горячо бросился в свет, но, видно, там в нём ошпарился, потому что, вернувшись в Кривосельцы после смерти отца, уже отсюда не двинулся. Знакомств не искал и слишком их не избегал; принимал вежливо, навещал редко, и то только

по долгу, чтобы не избегать соседей; говорил мало, не знали в нём никакой фантазии, кроме той, что любил книжки и над ними целые дни и ночи просиживал. Играл притом на клави-корде, а когда ему чтения и музыки, чтобы занять время, было мало, говорили, что также рисо-вал, хотя никаких его работ в доме видно не было. В часовне регулярно каждое воскресенье и праздник совершалась святая месса; пан Валентин часто её посещал, а кроме того, посещал её и в будни, но замечали, что сидел задумчивый, не молясь, без книги.

По всему было видно, что на сердце его когда-то покоилась тяжкая рука боли и оставила на нём незаживаемые раны; но из прошлой его жизни почти никто ничего не знал – только догадывались. Впрочем, пан Валентин был человеком прекрасного образования, приятным, любезным, но, как бы по своему решению, холодным и привлечь себя не дающим. Никто из него более горячего слова не добился. Если в первые минуты объявил в разговоре противопо-ложное мнение, в рассуждения и доказательства дальше не вдавался и, как бы опомнившись, отступал, упрямо молча.

Человек этого рода, хоть не очень богатый, но порядочный, нестарый, свободный, есте-ственно, пробуждал в живущих поблизости людях не одну фантазию познакомиться с ним, не один также проект женской головки; но это вскоре оказалось так невозможно, что о нём позже почти забыли. Жалели его, сочувствовали ему, как потерянному человеку. Так утвер-ждали дамы.

Самые горячие взгляды отбивались от него, как от скалы; казалось, их не видит и не пони-мает. Впрочем, пан Валентин, хоть серьёзный и молчаливый, несчастным вовсе не казался, не жаловался, не хотел походить на такого, скорее объявлял всем, что ему на деревне, среди этого покоя, добрых людей, старых деревьев, состоятельной посредственности было удобно и ничего больше не желал, только чтобы так окончить тихую жизнь.

Более любопытные отлично знали (потому что это в соседстве, а при отсутствии занятия каждая мелочь интересуется), как пан Валентин проводил дни. Раз и навсегда там был один и почти неизменный порядок.

Вставал не рано в плохую пору, весной и летом довольно рано, старый его буфетчик и одновременно слуга, которого звали Яськом, хотя имел седые волосы, приносил ему кофе и чаще всего заставлял его с книжкой в руках. После этого завтрака, или в саду под липами, или в комнате читал пан Валентин до обеда, который подавали обычаем тех времён самое позднее после часа. Еда была очень простая, а к ней стаканчик чистой воды или редко один бокальчик вина. После обеда он обычно играл до вечера на клави-корде; шёл на прогулку, возвращался на ужин из двух блюд и ещё играл или читал до поздней ночи. Оттого ли, что не мог спать, или оттого, что ночная тишина ему для работы была более приятна, он долго растягивал бодр-ствование и двух восковых свечей, которые Ясек ему ставил, почти никогда не хватало; сжигал ещё запасные, которые всегда приготавливали для него на камине.

Иногда среди ночи люди слышали его быстрые шаги по покоям или какую-то странную, бурную игру на клави-корде. Единственной переменной в этом порядке бывало, что пускался с книжкой в лес и с карандашами на прогулку, а в этом случае часто не обедал, ограничиваясь ужином.

Принуждённый к отъезду на несколько часов, он возвращался домой с заметным удо-вольствием, с сияющим лицом и бежал сразу к своим книжкам. У него было их немного, новых покупал мало; держал одну газету, чаще всего разгребал старые фолианты, которые ему при-сылали с разных сторон. Заимствовал также в соседних библиотеках, в Кодни, в Бьяле, и даже в Люблине. Ясек утверждал, что редко или почти никогда не видел его пишущим; делал записи на маленьких бумажках, но те потом горстями бросал в камин. Этот камин, днём и ночью под-сыпаемый ольховыми сухими дровами, был великим удовольствием пана Валентина, привыч-кой, потому что даже летом в гостиной всегда тлела ольховая колода. Этот огонь становился ему, видно, товарищем; с книжкой на коленях, с опущенной головой, он смотрел в синеватое

пламя, зелёное, фиолетовое, розовое, которое только сухая ольшина умеет выдавать в таких красивых цветах, и думал, и думал без конца. Ясек, привыкший инстинктивно к этой работе, входил потихоньку и, когда одно полено гасло, подкладывал другое.

Ночью, видно, он сам подбрасывал дерево, потому что редко когда с утра этот огонь было нужно зажигать.

В воскресенье шёл пан Валентин на мессу, сидел молча, часто забывался и дольше других там оставался, но не видели, чтобы его уста двигала молитва. Высох ли в нём её источник? Или вся она внутри души скрылась? Кто знает?

Ксендз Порфирий, бернардинец, человек честный и учёный, мало того, даже магистр св. теологии, который приезжал с мессой в Кривосельцы, заметив этот холод в человеке, которого уважал, пытался его немного расспросить и душу его открыть, но пан Валентин, выслушав его с великим терпением, отвечал:

– Отец мой, не судите человека по внешности, разные есть человеческие характеры, а часто тот, у кого рот закрыт, ревностней и горячее молится.

И ксендз Порфирий, как мудрый священник, оставил его в покое его внутренней молитвы.

В другой раз, зная эту его жизнь, наполовину шуткой он спросил:

– А всё-таки, дорогой подчашич, вы могли бы смело вступить в монастырь, потому что и так жизнь монаха ведёте, а вижу у вас и св. Бернарда, и Сумму св. Томаша, и боллардистов, и хризостомов, и августинцев, значит, вам теология мила. Вы созданы для кельи.

Пан Валентин улыбнулся.

– Если бы, если бы так было! – воскликнул он. – Но вас снова обманывает видимость, отец мой. Не чувствую себя достойным к этому призванию, я не в такой согласии со своей душой, чтобы мог сложить её как чистую в жертву Богу. И кто знает, дойдёт ли когда-нибудь до этого?

Он указал на догоревшие в камине угли.

– Смотрите, отец мой, – сказал он, – глядя на этот седой пепел, вы не сказали бы, что там уже под ними нет искорки? Подвигайте их и увидите жар, который горит сильнее, чем пламя, и дольше него длится. Только что крышкой прикрыл его этот холодный пепел.

И ксендз Порфирий, как мудрый капеллан, снова замолчал, но про себя подумал: «Это бедный человек, если в нём такой жар остался».

А вечером по его причине он прочитал литанию, потом был уже спокоен.

Так жили в этих Кривосельцах, а были такие, что пану Валентину искренне завидовали в этом удобно устланном гнезде и так аккуратно укутанной жизни. И ни одна молодая и красивая девушка, глядя издали на мужественное, бледное, довольно красивых черт и благородного выражения лицо этого человека, который имел много очарования в сладости характера, рисующегося на лице, вздохнула, думая: «Был бы хороший муж из него!»

Но как раз в том была загвоздка, что пан Валентин, любезный с дамами, если с ними встречался, не показывая к ним ни отвращения, ни боязни, как-то так холодно обходился, так коротенько кончал разговор, что к нему ни одна приблизиться не смела.

В недостатке информации о жизни и делах этого таинственного соседа по околице кружили вести, неизвестно откуда подхваченные, одни страннее других; повторяли их вечерами, но более рассудительные им не верили. Иногда то пан судья Досталович, то пан ловчий Вирчинский, то даже подкоморий Буковецкий навещали пана Валентина в его Тибете, как её называл ксендз Порфирий. Заставали его обычно у камина над какой-нибудь книжкой или при клавиатуре, который спешно закрывал, потому что музыкой совсем рисоваться не любил; принимал их вежливо, почти радостно, добрым кофе, плодами летом, иногда рюмкой старого венгерского вина; разговаривал живо и показывал обширные знания, но до дна человека никогда нельзя было добраться. Каждому из милых соседей потом через неделю, полторы он отплачи-

вал церемониальным визитом в память о нём и, проведя часок, хотя его туда гостеприимно приглашали, спешно возвращался в Кривосельцы.

В праздники и дни шумных забав в самых богатых домах, как у подкомория Буковецкого, у которого весело развлекались, потому что имел трёх красивых и с богатым приданым дочерей на выданье, приглашаемый письмами, он всегда отказывался по причине нездоровья или каких-нибудь дел, дабы суеты и шумной компании избежать.

В конце концов все оставили бы его в покое, предоставляя его судьбе, потому что никто до сих пор на самое маленькое изменение в его поведении влиять не умел, если бы не чрезвычайный случай, который долю счастливого до сих пор (иначе назвать трудно) пана Валентина пошатнул и потряс его покой – навсегда.

Мы говорили уже, что пан Валентин выписывал «Варшавскую газету», не порвав настолько со светом, что его уже ничего из него не интересовало; очень редко приходило что-либо с почтой, кроме этой газеты, за которой раз в неделю, по-видимому, должны были посылать аж в Брест. Часто также привезённая газета несколько дней лежала, даже не тронутая, на столике, потому что хозяин, занятый чем-то иным, не был ею заинтересован.

Однажды вечером Ясек, который её приносил, прервал чтение пана объявлением, что с газетой слуга привёз толстое письмо с большой печатью.

Пан Валентин непомерно редко получал письма. Итак, он велел подать его себе. Действительно, письмо могло обратить даже внимание Яся; был это огромный конверт, очень старательно адресованный и закрытый необычных размеров гербовой печатью. Адрес был по-французски, очень подробный, отчётливый, без ошибки.

Пан Орбека долго вращал бумагу в руках, прежде чем осмелился открыть, знал он из опыта, увы, как редко письмо извещает о доброй новости, как часто приносит плохую; он был убеждён, что плохая или хорошая новость всегда отбирает у него немного душевного покоя. Но в конце концов нужно было набраться смелости, седой Ясек стоял со свечой и ждал, глядя в глаза, и другой товарищ одиночества пана Валентина, достойный его приятель, пудель Нерон, сидел тоже перед ним, пытливо смотря на него, словно какую-то душевную боль для него предчувствовал.

Пан Валентин не спеша отодрал печать, достал большое письмо и, бросив взгляд на подпись, пробежал его одним взглядом, потом встал как вкопанный и, не проявляя ни грусти, ни радости, стоял, однако, слишком долго для совсем хладнокровного и сознательного человека.

Ясек, который светил, смотрел на пана и, наконец, испугался этой его окаменелости, Нерон начал лапой царапать ему ногу, как бы стараясь разбудить. Валентин стоял, думал, наконец медленно положил письмо на столик, кивнул Ясеку, чтобы ушёл, а сам начал прохаживаться по комнате.

Не умея читать, любопытный старый слуга не мог подсмотреть панской тайны, однако же легко понял, что должно было произойти что-то важное. Подали ужин, хозяин пошёл к нему по своей привычке, сел, но, выбитый из колеи, ничего не взял в рот, чтобы снова ходить по комнате почти до белого дня.

Нерон, который знал пана досконально, сперва сопровождал его в этих прогулках, как бы показывая сочувствие и некоторое беспокойство, потом наконец пошёл на своё обычное место перед камином и, несколько раз глубоко вздохнув, уснул. Утром Ясек нашёл пана одетым раньше, чем обычно, и на ногах, в глубокой задумчивости; а когда принёс кофе и хотел уйти, пан Валентин его задержал.

– Слушай-ка, мой Ян, – сказал он, – я буду вынужден на какое-то время уехать во Львов и Варшаву, а тут у нас, возможно, для дороги ничего нет. Сомневаюсь, чтобы какая бричка выдержала, кони старые... ну, и Гриша... как его тут брать в дорогу, когда плохо видит? И, по правде сказать, кони его ведут, а не он их.

– Это всё правда, – ответил Ясек, – потому что мы очень дома засиделись. Но, пожалуй, извините, что о том спрашивать я не осмелился, нет в том ничего плохого.

Пан Валентин мягко улыбнулся.

– Мой дорогой Ян, – проговорил он, – ты немолод; прекрасно знаешь, что человек никогда предсказывать не может, когда с ним что случится – на добро ли, или на зло это выйдет, и кто это знает? Плохое часто оборачивается в лучшее, хорошее – в несчастье. Но, по-человечески принимая то, с чем я столкнулся, неплохо.

Я предпочёл бы, может, чтобы этого не случилось, но, видно, было предназначено. Если бы я мог тебе поведать, о чём речь, ты был бы, может, очень счастлив – а всё-таки...

Ясек схватил пана за ноги, а Нерон, видя, что он так ласково подходит к нему, с лапами вскочил на колени, потому что был очень ревнивый.

– А! Отец мой, – воскликнул Ясь, – ежели так, скажите мне, что это?

– Тебе это не нужно, – сказал пан Валентин, – но вскоре ни для кого тайной не будет. Вещь очень простая: мой дед имел брата во Львове, поскольку мы приходим из... семьи, тот брат имел сына, который мне приходился дядей. Был это очень зажиточный купец, бездетный, с которым я никогда не сносился, чтобы люди не подумали о жадности. Дядя умер, оставил несколько миллионов, каменицу во Львове и Варшаве и всё это мне завещал. Что ты на это скажешь?

Ясек, которого пан Валентин подозревал, что хлопнет в ладоши, что лихорадочно возликует, стоял с поникшей головой.

– Это, может быть, для вас великое счастье, – сказал он холодно и медленно, – но, я старый, я глупый, как-то иначе вещи принимаю. Было тебе, мой дорогой пане, хорошо и спокойно, ты постелил себе гнездо, какое хотел, никто тебе не мешал, жизнь шла как у Бога за пазухой, хлеба хватало, честных удобств было достаточно, хоть избытка не имели. Что же к тебе придёт из этого миллионного состояния? Вот, может, зависть и навязчивость людей, обманы льстецов, коварство друзей, из которых я и Нерон, так как до сих пор служили тебе, несомненно, лучшие. Поэтому будь что будет, дай вам, Боже, счастье при новой доле, но она уже тем, чем были эти ваши спокойные дни, не будет.

Пан Валентин встал и обнял его.

– О! Ты вполне прав, – воскликнул он живо, – ты высказал только то, о чём я думал со вчерашнего дня. Сердце моё бьётся, вырывается, овладевает мной уже эта горячка золота и силы, чувствую себя изменившимся, иным, худшим. Кто знает, сумею ли сдержаться, сумею ли использовать это состояние, или...

Он закрыл глаза, а Нерон, видя необычное волнение пана, аж скулить начал, старый же Ясек, который с трудом сдерживал слёзы, попросту расплакался.

– Это испытание, которому Бог захотел меня подвергнуть, – сказал пан Валентин, – найду в себе отвагу и постараюсь с ним справиться. Прошу тебя, мой старик, новость сохрани для себя.

Ясек, обняв в молчании колени пана, ушёл, а Орбека, задумчивый, взял, не зная что делая, со столика газету, и первой вещью, на которую упал его взгляд, было следующее сообщение:

«Пишут нам из Львова, что богатый местный купец, происходящий из знаменитой и старинной фамилии Орбеков, советник и секретарь его королевского величества, пан Пётр Орбека, умер 5 мая после короткой болезни в возрасте 65 лет, своё состояние в наличных капиталах, суммах, на землях, вписанных в ипотечные книги, разных дорогих вещах во Львове на улице Сикстуской, как также в Варшаве на Подвале, не имея ближайшей родни, завещанием передал всё своему племяннику, живущему в околицах Седлец, в наследных землях Кривосельце. Пан Валентин Орбека, наследник покойного, был известен и у нас в Варшаве около десяти лет

назад, как одно из украшений салонов столицы и человек, любящий науки, для более свободной практики которых, полностью с некоторого времени обосновался в деревенской стороне».

Эта корреспонденция была неприятна пану Валентину, поскольку убеждала его, что вся страна уже обратила на него глаза, что приведёт к нему преследователей без меры, и что его дни одиночества безвозвратно закончились.

Не позже полудня того же дня карета подкомория Буковецкого уже подкатила к крыльцу Кривоселец и тучный сосед, вылезший из неё с помощью племянника и слуги, вбежал с громким, готовым поздравлением в скромный домик, восклицая:

– А вот бы обнять этого счастливого человека... приветствую, наш Крез! Дай присмотрюсь, какое впечатление это на вас произвело, потому что меня, я шельма (была это поговорка подкомория), возможно, новость привела бы к апоплексии.

На пане Валентине, кроме грусти и обеспокоенности, ничего было не видно, подкоморий также, заметив, что подобало настроиться на иной тон, выволившись из объятий хозяина, тоже успокоился, стал серьёзным и принялся приводить высказывания о ничтожности земных вещей.

Поскольку подкоморий, хотя всю жизнь провёл в шумном кругу многочисленной родни и приятелей, крутящихся около дочек на выданье, двух богатых кузинок, пребывающих в его доме, и одной чрезвычайно красивой, но несерьёзной резидентки, хоть мало читал и, казалось, имел много времени для размышлений, был очень рассудительный и практичный. Он знал, как с кем вести себя, что кому сказать, как подстроиться к настроению и приманить к себе человека.

– Ваша милость, благодетель, – начал он спустя мгновение прерванный разговор, – вы, наверное, лучше меня знаете, что, как есть *gratiae status*², так и *onera status*³. Значительное состояние возлагает также великие и публичные обязанности, благодетель, и общественные, это напрасно! Не для того его имеют, чтобы лучше елось и пилось, и голова выше задиралась, но чтобы служил им и стране, и братьям. Поэтому также напрасно не усидишь, сударь, я шельма, в Кривосельцах над своими книжками, будешь должен подобрать и некоторый кружок себе и, более того, спутницу жизни, *sociam vitae*, и...

Пан Валентин опустил голову.

– На это я вам, пан подкоморий, отвечу только, – сказал он, – что мне, по всей видимости, с новыми обязанностями и новой жизнью так уж хорошо и спокойно не будет... как мне на протяжении этих лет было в Кривосельцах.

Он вздохнул.

– А это напрасно! – наполовину шутливо добавил Буковецкий. – *Accipe onus pro peccatis*⁴. Эй! Эй! Я шельма, не один бы радовался, если бы на него это бремя упало!

Ни к чему так люди не льнут, как к счастью, когда бы оно не явилось, летят как на огонь; если бы так к доле, если бы так с солидарностью и помощью! Увы...

Ещё подкоморий не выговорился, когда послышался скрип кареты, приехал пан ловчич Вирчинский, длинная, худая фигура, всегда смеющийся и слывущий остроумцем, когда-то член люблинской палестры (адвокатура), в соседстве обычно называемый Выгой (опытный человек).

От порога он начал бить поклоны и сыпать забавные приветствия. Невольно подкоморий, увидев его, как-то передёрнул плечами, ибо они не любили друг друга, и сказал про себя: «Вот

² *Gratiae status* (лат.) – Милость положения.

³ *Onera status* (лат.) – Бремя положения.

⁴ *Accipe onus pro peccatis* (лат.) – Прими это бремя за грехи.

уж, как на клей...», а ловчич так подумал: «Его уже сюда принесло, наверное, думает, что для какой-нибудь дочурки его схватит...»

– Только одно вам, сударь, скажу, – отозвался ловчич, – что не слепая *fatalitas*, как думали язычники, правит светом, но разумное Провидение, и что *quidquid fit* становится заслужено. Не могло наследство упасть лучше, чем к нашему кривосельцкому Сократу. Поэтому *gaudeamus i Te Deum laudamus*⁵.

Он не dokonчил ещё, потому что собрался на гораздо более долгую речь, когда тихонечко проскользнул судья пан Досталович, человек неразговорчивый, жёлтый, ревнивый, подозрительный. Его также задело, что застал там уже подкомория и ловчича, потому что каждый, хоть один ехал, гнушался другими жаждущими золота, однако же, скрыв в себе это впечатление, он пожал с великим чувством руку хозяина и добыл несколько слов поздравления.

С судьёй Досталовичем прибыл также ксендз Порфирий, который у него гостил, чтобы поздравить пана Валентина, а может, *data occasione*⁶ и о монастыре напомнить.

Бедный ксендз, поздравляя, сам румянился, потому что принадлежал к той группе людей, что пришли бить поклоны золотому телёнку. Пан Валентин испытал самое неприятное впечатление, в душе он чувствовал, что эти любезности, эта лесть и нежность были не для него, но для почтения силы, которую он имел, могущества этих денег, такого нерушимого и страшного в руках злых и слабых людей. Это испугало его ради самого себя, ибо каждую минуту он сильнее замечал, как тяжело будет справиться с задачами жизни.

В такой день уже из-за одного обычая края постом обойтись не могло, хотя пан Валентин не терпел пьянок и угощений. Он должен был, однако же подать пару бутылок старого венгерина и пару бутылок не менее старого мёда.

Вечер был чудный, майский, гости сели на крыльце, на оживлённой беседе время проходило быстро; они, может, забавлялись бы дольше, если бы, наконец, молчаливое расположение хозяина не вынудило их к отъезду. Они чувствовали, что этот человек, должно быть, размышляет, может, борется с собой, вежливость велела уважать эту серьёзную грусть, хоть для обычных людей непонятную. Подкоморий, пригласив всех послезавтра на обедик, двинулся первый, за ним иные, и хотя пан Валентин приглашал гостеприимно на ужин, никто не остался. После отъезда гостей измученный Орбека вышел со своим достойным Нероном на крыльцо к саду.

Стук брячек исчез в отдалении, тишина весенней ночи, старая знакомая, окружала его снова. Перед ним, облитый серебристым светом луны, простирался тот старый сад, бормоча непонятную молитву, по которому столько лет, столько дней, столько одиноких вечеров проходил он, не догадываясь даже, что его когда-нибудь из этого зелёного угла вырвут на свет.

Теперь больше, чем когда-либо, он чувствовал ценность этих ушедших денег, той свободы, ненарушаемой ничем, той золотой тоски отшельника, на крыльях которой душа летит над миром!

Почти со слезами на глазах медленным шагом он спустился в свой сад. Там всё ему говорило каким-то знакомым, понятным голосом; и песня соловья, и шум деревьев, далёкое журчание воды, вращающей ил, и пастушеские песенки, и клекотание аистов, укладывающихся ко сну, сливались в какой-то настоящий ораториум земли, полный мистических звуков. Здесь и его душа могла слиться и соединиться с общим хором творения в согласной песне Богу и небесам. Много ли незабываемых тяжёлых минут он тут провёл, убаюканный этой общей гармонией к покою, какого свет дать не может?!

Помнил он те часы борьбы, когда его непослушная душа, обезумевшая от воспоминаний, рвалась из гнезда снова в свет, когда всё, чем привлекает жизнь, светлыми призраками про-

⁵ *Gaudeamus i Te Deum laudamus* (лат.) – Тебя, Бога, хвалим.

⁶ *Data occasione* (лат.) – При известной возможности.

скальзывало перед ним, заманивая к себе... когда утомлённый, страждущий, он терял силы и оставался вросшим в этот кусок земли, который ему только серые дни тишины мог дать.

А теперь, когда ворота стояли открытыми настежь для входа, дорога устлана парчой, как страшно было переступить этот порог, созданный в дни раздумий, за которым кипел бой со светом, с собой, с людьми, страстью, ложью, легкомыслием.

Пан Валентин однажды уже пробегал по горящим углям иной жизни; молодой, полный доверия, а скорее, неопытности, на дне тех юношеских восторгов нашёл он горькую муть разочарования. Человеческое сердце, этот дорогой камень, такой светлый, растопилось в его ладони, как кусочек льда, в каплю мутной воды, в которую лилась его горькая слеза.

Он испробовал свет, но не насладился им, в его груди остались посыпанные пеплом горячие желания, он чувствовал себя неуверенным, слабым, знал почти наверняка, что его голова закружится, что будет несчастным.

Но жизнь, ах! эта жизнь, даже в страданиях имеет столько прелести!

И бедный Орбека румянился сам перед собой, видя, что тем ветром, что толкнёт его на волну, была горсть золота, издевательски брошенная ему судьбой.

Было что-то дьявольское в этом испытании, на какое он был выставлен, счастливый, спокойный или удовлетворённый, по крайней мере, онемелый, застывший... он чувствовал себя подхваченным фатальной силой из этого порта в море.

Несколько раз он повторил себе:

– Почему бы не отречься от всего и остаться так, как есть? Но человеческая слабость есть наиболее странной из софисток; она ему отвечала:

– Почему же, если это золото тебя обременяет, не использовать его и не распорядиться им лучше, чем смогли бы иные? Разбросать его, раздать, разложить мудро по шкафам.

Бедный заблуждался.

Среди этих мыслей проходил поздний вечер, уже была ночь; сад, облитый росой, в жемчужинах которой кое-где поблёскивал месяц, полный благоухания, тени и птичьих песен, казался ему раем, из которого должен быть изгнан.

Он припомнил свои прогулки, мечты и музыку, и живопись, и книжки.

– А это единственные удовольствия жизни, после которых нет пресыщения, не оставляют мути, вечно пьётся и желается, а душа выходит чистой, всё более прозрачной, всё более сильной, как бы подготовленная к лучшему свету.

Он сорвал ветку берёзы, которая облила его холодными слезами ночи и дождём увядших цветочков, и побрёл к своему клавикорду. На нём лежала любимая соната Бетховена, одна из тех его последних, вдохновлённых невыразимой борьбой чувств и мыслей в хаотичном бою, болью, взывающей к Богу. Была в ней вся жизнь человека. *Allegro* его молодости, свежее и благоухающее, *largo* влюблённости, менуэт пира и свадьбы, потом, словно в насмешку, отрывок похоронного марша и финал, полный грёз и тоски старости, хотя полный ещё недогоревшей жизни.

Для Орбеки эта соната была почти всей его историей, воспетой ему ясней, чем он сам мог её рассказать; сел и пальцы сами побежали по клавишам с той немилосердной энергией, какую имеет человек только в избранные минуты жизни, чувствуя в себе возрастающую силу, как бы чем-то высшим над собой, чем-то лучше самого себя.

А когда он закончил играть, только тогда заметил, что по распалённому его лицу ручьём текли слёзы, горячие слёзы, каких давно не ронял. Он омывал ими ту дорогу, которую должен был пройти, которая манила его и была для него страшной, искушала его и пугала, манила и устрашала одновременно.

Но уже старый вчерашний человек уступал в его груди место новому незнакомцу. О! Унижающе слабым есть человек, даже когда знает это своё несчастье; внутренние влияния как

тараном разбивают камни стен его убеждений, рушится то, что должно было охранять, плачет над руиной и уступает победителю.

С ужасом пан Валентин сам заметил перемену, какая в нём произошла; не был собой, чувствуя ещё, что им быть перестал. Мечтал, желал, был опьянён и не владел своей волей.

Все эти мечты, которые раньше не смели переступить порога и исчезали перед его холодным лицом, теперь, осмелевшие, обнаглевшие, насмешливые сидели у него на груди и голове, играли связанным, надевали на него путы и тащили.

Мечтал, а мечта убивает, отравляет и опьяняет. Напрасно он пытался оттолкнуть призрака, не имел в себе той вчерашней силы, которая его против него вооружала.

Он встал с заломленными руками от клавинофорда, бледный, разгорячённый.

– Сталось, – сказал он себе, – а стало быть, новое испытание жизни, испытание без веры, без завтра, без любви; последняя проверка, похороны спокойствия и молитвенной тишины. Поглотит буря? Поглотит... Что же, одной песчинкой, утонувшей в море, станет меньше.

А с крыльца от сада пели ему в берёзах соловьи прощальную песнь и ветер обливал его весенним ароматом лесов, а луна одевала пейзаж словно серебряным саваном.

Подкоморий Буковецкий, если хотел выступить, то умел. Развлекались там часто, потому что двор был полон молодых девушек, тут же игры, пиры, гости, танцы, сани, праздничные скрипки, именины, дни рождения, поминки, майовки, посевные нигде так прекрасны не бывали, так веселы и удачны, как здесь. Двор имел уже ту традицию хорошей гостиницы, что в нём никто не боялся ни перед обедом неожиданно прибывающего десятка особ, ни кортежа подъезжающих саней. Сама хозяйка, подкоморий, девушки умели так всем заправлять, что никогда не замечалось ни малейшей обеспокоенности.

А когда уже было время подготовиться к приёму, то выступали, что называется. Подкоморий имел своих поставщиков, рыбу в корзинах, некоторую дичь, запасы деликатесов и даже музыку по заказу.

Этот оркестр не был изысканным: первый скрипач, на один глаз слепой еврейчик, но артист, хотя бы его в Варшаву послать, тогда бы не посрамился, двое кларнетистов, также еврейских, из тех один феноменальный, громкая и страстная виолончель, вдобавок бубен. Больше трудно на деревне требовать. Виртуозы тем отличались, что часто, играя по восемнадцать часов кряду, все спали, а поэтому работали вот так уже механически, по привычке. Только первый скрипач не спал, но зато был всегда пьяный, что добавляло ему огня. Никто так мазурку не умел играть, как он, ноги сами рвались, подагрики двигались, словно скрипки были какими-то – как говорится – зачарованными.

Аронка молодёжь также часто целовала в энтузиазме, и любили его девушки, несмотря на то, что одного глаза не хватало и это место было некрасиво прикрыто волосами и ермолкой.

После совещания с подкомориной, которая ни тучностью, ни юмором не уступала мужу, совещания такого таинственного, что ни одна из девушек даже через отверстие для ключа ничего подслушать не могла, потому что разговор происходил тихо, – обед, на который был приглашён Орбека, решили сделать очень роскошным.

Мать только то замечание сделала мимоходом дочкам, что могли бы на тот день надеть платья лиловые с розовым, недавно привезённые из Варшавы. Панна по разному это себе объясняли и считали за знак великих, каких-то великих замыслов.

За шукой, которой не хватало в корзине, специально послали повозку в Кодин, откуда и свежее мясо должно было приехать. Приготовления были таких размеров, как на именины, даже рюмка, называемая *Philosophorum*, по причине, что на ней были выбиты Сократ, Платон и Аристотель, была добыта из сафьяновой коробочки, в которой обычно покоилась.

Всё как-то на удивление складывалось. Лазарек, корчмар, ни о чём не зная, удачно на этот пир привёз огромного угря, при виде которого душа хозяйки порадовалась, решила его

подать с изюмом и копчёным соусом, а повар приготовил таким образом аппетитно. Около полудня, накануне, снова сверх всех ожиданий, лесничий Сапежинский, которому позволяли косить луга на границе, привёз огромного оленя. Корейка и жаркое с вертела со сметаной – отличное второе блюдо, хозяйка ходила, напевая. Уже меньше заботились о щуке, которую должны были подать, согласно программе, с шафраном, но хоть бы её не было, можно было обойтись без неё.

Одним словом, всё приготовили к вечеру с лёгкостью, успешные звёзды светили этому соседскому пиру. Но часто судьба так насмехается, попросту говоря, над человеком, допустит его к желанному источнику, и только тогда схватит за воротник, – прочь!

После обеда подкоморий сидел на крыльце и напевал, барабанил пальцами по столику, на котором должны были подать ему кофе, тот деревенский кофе с настоящей пенкой, с миндалём в сахарной глазури, наш кофе, который никто никогда не пил за границей.

Затем его внимание обратили клубы пыли. На деревне в долгие одинокие дни клубы пыли на дамбе, увиденные издали, представляет загадку, над разрешением которой иногда весь двор пробует свою догадливость. Выходят все на крыльцо: пан, пани, слуги, челядь с фольварка, хлопцы из конюшни, каждый присматривается, раздумывает и пытается отгадать; пыль приближается, видны кони, потом карета, но часто это бывает обманчивая отара овец. В этот раз подкоморий был один; встал, приложил ко лбу руку, прижмурил глаза и воскликнул:

– Я шельма, гости! Гости! – добавил он через минуту.

И позвал жену.

Вышла жена, поглядела и ударила в пухлые ручки.

– Карета, жёлтая даже, но кто это может быть?

Затем и весь дом был в движении, тем временем эта загадка приближалась всё больше, показалась овальная каретка, жёлтая, кони почтовые, сумок перед, за и на карете немеренно.

– Я шельма, бабы! – воскликнул невежливо подкоморий. – Потому что барахла много, но кто?

Начали угадывать – напрасно; действительно, трудно было угадать этого гостя, который прибывал за угрём и оленем, но гораздо менее них желанный.

В каждой семье есть более или менее дальние родственники, потерянные в свете, часто такие, которых бы не очень хотелось возвращать.

Одной из таких кузинок была племянница самой пани, славящаяся обаянием и кокетством, некогда панна Пальмира из Выхоловичей, баронова фон Зигхау, потом подчашина броцлавская Сироцынская, сейчас два раза разведённая, женщина, играющая большую роль на варшавской брусчатке. Было это существо, как утверждали, очаровательное, но превыше всяких слов непостоянное и кокетливое; её любовных интриг никто сосчитать не мог, они достигали всех краёв провинции, за границы и разнообразных общественных сфер. Влюблялось в неё войско, духовенство, сановники, старые, молодые, паны, поэты, артисты, банкиры. Пани Пальмире (обычно называемой Мирой), несмотря на столько проделанных приключений, которые начались на шестнадцатом году жизни, было не больше двадцати пяти лет, была во цвете молодости, обаяния, в рассвете остроумия и умения сводить с ума, которое подняла до такой высокой степени, что шла в заклады, что каждому, кому захочет, закружит голову. Её очень развлекало, когда доводила мужчину до безумия и забвения, а, сказать правду, только это одно, может, представляло всю цель и интерес её жизни.

Разведёнка, свободная, достаточно богатая, по крайней мере, так годилось думать по её жизни, уничтожала жизнь самым необычайным образом, видели её по очереди то у вод, то в столице, то на деревне, то собирающейся в очень дальнее путешествие, и везде, где бы не появлялась, тянулась за ней шеренга воздыхателей. Без тех обойтись не могла; когда эта армия её оставляла, тут же брала себе в рекруты новую, а удавалось ей это с наивысшей лёгкостью.

Впрочем, одинаково легко потом отделялась смехом и равнодушием либо насмешкой на назойливых.

Мира была маленького роста (хотя носила тревички на высоких коблуках), чересчур ловкая, кругленькая, белая и розовая, как сахарок; волосы blond, немного светлые, отдающие красным цветом, личико детское, округлое, с ямочками от улыбок, зубки как жемчуженки, ручки как у ребёнка, ножки до смехотворности малюсенькие. Но это паспортное описание, которое ничего ещё не говорит; не дают себя описать её глазки, фиглярный взгляд, то грустный и слезливый, то улыбчивый и пустой, переменчивое выражение лица, по которому, как в весенний день, мелькали тучки и безмятежность, пролетали слёзы и улыбки, угрозы и обещания. Ничего на свете более подвижного, чем это лицо, увидеть было нельзя; часто, когда она, грустная, опускала головку, через минуту, когда поднимала её, уже была волшебно сияющей. Смех и плач в её душе, казалось, держаться за руки. Иногда она была злая, как бесёнок, иногда добрая и мягкая, милосердная, слезливая, как ангел.

Фантазия управляла её сердцем и жизнью. Когда чего-нибудь желала, готова была на самые большие жертвы для достижения цели, а через мгновение потом, слезами купленное сокровище бросала на дорогу и топтала ножками. Так поступала с чувствами, людьми, со всем, что попадало в её белые ручки.

С этими недостатками, увы, Мира была восхитительной, можно было к ней привязаться, сойти с ума по ней и умереть, говорили также о нескольких, что жизнью заплатили за любовь, но она вздыхала только над их судьбой, вовсе не думая измениться или исправиться. Также кажется, что это было и слишком поздно, и напрасно.

Пани подкоморина уже очень давно не видела кузинки и не желала её вовсе навещать, потому что громко порицала её поведение и не хотела дочкам дать плохого примера, который так заразителен. Два развода и несколько десятков интриг делали её для всех простачков – женщиной пугающей. Поэтому можно себе представить удивление, неудовольствие, беспокойность хозяев, когда Мира, выскочив, как птичка, со смехом и слезами, из кареты, неожиданно напомнила им о себе.

Подкоморий с женой стояли в немом остолбенении, особенно он, по причине завтрашнего обеда, приглашённых гостей и Орбеки был обеспокоен.

Прекрасная пани легко заметила по лицам, что её приветствовали без большой радости, но это было для неё задачей для преодоления, ничего больше. Она так умела приобретать себе сердца, что ни на минуту не сомневалась, что до вечера, не позже, всех сбаламутит и головы им закружит.

Щебеча, подскакивая, растрогавшись от семейных воспоминаний, Мира прильнула сначала к подкоморию и полчаса его задабривала, потом постепенно вернулась к женщине, которую схватила за сердце, плача над воспоминанием о матери, бабке и семье. Наконец подхватила девушек и побежала с ними, шутя, в сад, как ребёнок, желающий простого детского развлечения.

Когда она ушла, они долго сидели напротив друг друга молча.

– Я шельма, – сказал наконец подкоморий, вздыхая, – а мы эту бедную женщину несправедливо оговаривали, она мне кажется очень милой и сердечной.

– Я как раз то же самое хотела поведать, – отозвалась подкоморина, – не может быть, чтобы наша Мирка была такой, как её нам злые языки обрисовали.

– Я скажу тебе, моя панна, – добавил подкоморий, – что она такая красивая и такая неженка.

– Может, там головка немного ветреная, – вздохнула жена, – но сердце наилучшее. Я заметила, как у неё слёзы текли при воспоминании о бабке, доме.

– Но потому что, – сказал подкоморий, – этот свет, этот свет – клеветник, а люди на нём... Что же удивительного, что у неопытной женщины могла нога поскользнуться.

– Пусть это Бог судит! – добавила пани.

– Но нам, моя благодетельница, упала как с дождём на завтрашний обед, и в самом деле, не знаю, – тише добросил подкоморий, – впору ли, или не совсем. Потому что, хотя мила, но легкомысленная женщина, ветреница, ребёнок, а Орбека, которого мы чувствуем, слишком серьёзный, человек суровый, это будет его поражать.

– Разве она будет с вами сидеть, – отозвалась подкоморина. – Её девушки возьмут, потому что она, как видишь, ребёнок ещё и любит развлекаться. Не будет всё-таки ему надоедать.

– Так бы и я думал, – закончил подкоморий, – а между тем, как она, наши девушки и кузинки, и резидентки сядут за стол, это будет такой венок красоток, что его нелегко где-нибудь увидеть. Только наряды девушек, и скромно, жена моя, кто там знает, что может быть!

– Мой супруг, напрасно уже и мечтаешь, наши девушки красивые, свежие, молодые, но они трусливы, а как рядом с ними Изабеллка и Эмилька выступят.

– Ну, ну, – прервал подкоморий – разве я стараюсь об этом, или проектирую, нужно, однако же, всегда лошадку на рынок вывести, купят – хорошо, а нет – тоже хорошо.

Подкоморина незначительно пожала плечами, услышав уже, как вбегает белое облако девушек с Мирой во главе, которая, покрасневшая, уставшая, бросилась на кресло.

– А, что же это за милый сад! Что за прекрасный воздух, какая милая околица! Какая чудесная весна! – восклицала она. – Я тут хотела бы жить и умереть в лесу, в хате! (Хатка и лес *une chaumière et son coeur* были тогда в моде. Мария-Антуанетта строила домики в Трианоне, а у нас не было дворца без дикой променады и хаты, покрытой соломой, и украшенной внутри зеркалами).

Знаете, тётя – добавила она, – я так давно не была в деревне, что мне теперь кажется, будто бы вернулась после мучительных снов в мои детские годы. Жизнь всё-таки кажется мне кошмаром, сном, миражом, так мне тут хорошо! Так мне тут на сердце светло! В самом деле, я поселюсь в деревне.

Подкоморий улыбнулся.

– А где бы ты тут достала все эти заколки и игрушки, к которым привыкла?

– Я выбросила бы наряды, игрушки, оделась бы в простенькое полотняное платье, в соломенную пастушью шляпку.

– Да! Да! Только посох в руку и барашка на розовой ленточке и, возможно, ты была бы похожа на тех пастушек, что на веерах рисуют, – рассмеялась подкоморина.

А между тем из голубых глаз Миры фантазия, воспоминание (может, дорожный насморк) выжали слезу, которая потекла по личику, быстро стёртая и затем осушённая улыбкой. Подкоморий с супругой, однако, видели эту жемчужину, поглядели друг на друга и оба поведали в душе: «Это бедная женщина».

Эта слеза полностью их подкупила.

Что же говорить, когда за ужином начала восхищаться каждым кушанием (на что хозяйка была неизмеримо чувствительной), когда каждая тарелка вызывала в ней новые восторги, а после ужина сама предложила невинные игры и пошла как ребёнок играть с паннами в колечко, четыре угла и жмурки...

Когда расходились спать, Мира уже завоевала всех без исключения, даже до слуг и челяди, для каждого имея улыбочку, вежливое слово, подарок, лесть, взгляд.

– Волшебница, – сказал подкоморий, беря тапочки, – такой женщины, как живу, не видел. Удивительно, что здесь головы всем закурила. *Vade retro, Satanas!*

Каждый легко догадается, что, подружившись с девушками, Мира, которая пригласила их в свой покой под предлогом показа каких-то нарядов, воспользовалась этой минутой, чтобы познакомиться с новым миром, окружающим её. Достала из сундуков всё, чем могла девушек занять и развлечь, накормила мармеладом, которого нашла целую коробку, восхитила остро-

умием и любезностью, а в то же время узнала от них постепенно всё, что нужно, историю завтрашнего обеда, пана Орбеки, доставшегося ему наследства и т. д.

Очень незначительно, смеясь и шутя, она расспросила девушек о пане Валентине, вытянув из них, что только о нём знали. Казалось, что она не придаёт этому чрезмерного значения, скорее смеялась над диким анахоретом, над другом собаки, над старым Яськой, над ночными его занятиями на клавиатуре (которые всем были известны). Однако ни малейшая подробность не ушла от её уха.

Когда около полуночи сияющие панны, вынося стопками подарки кухни, вышли от неё, скача и напевая, прекрасная Мира, уставшая, сломленная, бессильная, бросилась на кровать, закрыла глаза и приказала служанке раздевать её, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой.

А когда служанка ушла, слёзы покатились из красивых глазок на подушку, сердце её как-то сжалось, отыграв роль смиренной кухни, рекомендуемой к кровным, роль, к которой вовсе не была привыкшей.

Она, избалованное дитя, обсыпанное почестями, овеванное фимиамом, теперь – была вынуждена поддаваться, ластиться, чтобы подкупить и выпросить поблажку.

Но эти слёзки не лились долго, вскоре осушили их надежды, мечты, проекты, а при том нужно было не выплакивать глаз, чтобы иметь их весёлыми и ясными назавтра.

ROZDZIAŁ II

Этот торжественный день наконец наступил, а у семейства подкомория, хотя приём гостей был вещью очень обычной, с утра в доме была постоянная суета. Этому способствовало и прибытие красивой Миры, которой также подобало немного выступить. Сама хозяйка, самая младшая из девушек, отправленная в кухонный департамент, резидентка, которая распоряжалась бельём и серебром, подкоморий, владеющий погребом и напитками, с восьми часов были в делах. Люди сновали в процессии, неся различные приборы для столовой залы.

Прекрасная пани, прибывшая вчера, скоро не показалась, долго проспала, потом одевалась достаточно времени, наконец отговорилась написанием каких-то писем вплоть до обеда.

Только девушкам было дозволено забегать к ней, чтобы узнать, не нуждалась ли в чём.

На деревне в те времена даже обед в более торжественные дни подавали достаточно рано, около двенадцати, прибыло уже несколько соседей, в гостевом покое стоял графин с водкой и закусками для гостей, чтобы им до обеда голод не докучал. Подкоморина в половине одиннадцатого была уже в большом наряде, тюрбане на голове и перьях, девушки в новых платьицах. Сразу после двенадцати пришла также и Мира. Хозяйка сильно опасались, как бы она нарядом и очарованием не затмила их дочек; они очень обрадовались, когда увидели её очень скромно одетой, темно, без блёсток.

Но, увы! Чаровница была ещё более красивой, чем вчера, можно было её принять за молоденькую девочку, так свежо выглядела, такую имела невинную, скромную и покорную минку. Среди восемнадцати- и шестнадцатилетних кузин она казалась младшей их сестричкой. Почти одновременно с ней вошёл в покой пан Валентин, на лице которого видно было только замешательство, смущение, почти нетерпение. Поздоровавшись, он тут же поспешил укрыться в уголке, как можно меньше желая других занимать собой и сам заниматься другими.

Он не глядел даже на женщин, не видел, как невзначай любопытным взором измерила его прекрасная разведёнка. Казалось, изучает и исследует его с лица, однако же, опасаясь, чтобы игру эту не заметили, не разгадали, Мира притворялась занятой чем-то другим и отлично играла роль равнодушной.

Тем временем гости съезжались, дом наполнялся; отворили двери в столовую залу, пан Валентин, как виновник торжества, должен был подать руку хозяйке, а судьбе было угодно, чтобы его посадили между подкомориной и Мирой.

Мира была неслыханно скромна, молчалива, почти запугана. Невольно пан Валентин обратил взгляд на неё и – уже от этого красивого личика оторваться не мог. Знал он из представления имя пани, но кто она была, не знал вообще. Поразило его девичье выражение, молодое, полное свежести, этой женщины, очевидно, не принадлежащей к деревенскому свету.

За обедом, не знаю отчего, завязался разговор. Мира вела его так ловко, что до наивысшей степени раздражила любопытство Валентина. Она знала, что он любил музыку, и притягивала его, показывая необычное её знание.

Но, бросив пару семян, которые должны были прорасти в сердце и уме, она тут же замолчала, заслонилась молчанием и с самой отличной стратегией, казалось, отступает и защищается от знакомства ближе.

Орбека был задумчив, смешан, но полон уважения, не навязывался слишком. Разговор наедине также становился невозможным при кружащих рюмках, всё общество вело безумный гомон, тот хор веселья, среди которого пересекались остроумные выкрики, пожелания здоровья, громкие вопросы, забавные ответы, избитые шутки, но всегда побуждающие к смеху. Может, из всего круга пирующих, окружающих стол, менее весёлыми были пан Валентин и Мира. Их настроение, по крайней мере на первый взгляд, казались дивно согласными.

Выпили за здоровье Орбеки, желая ему счастья и процветания. Рюмочка Миры стукнулась о рюмку соседа, а её глаза брызнули огнём и искрами глубоко в душу. Пан Валентин почувствовал себя как бы опутанным и прибитым. Он был побеждён без борьбы, а под тяжестью этого безумия и опьянения казался таким неуклюжим, как только большое чувство или страсть могут нас делать. Одно обстоятельство, для всех являющееся тайной, даже для Миры, ещё способствовало впечатлению, какое она на него производила.

В прошлой жизни бедного человека лежали на поле боя кровавые памятки великой, безумной, жестоко разочаровавшей любви, которая вывернула всю судьбу Орбеки. Та женщина, образ которой он носил в сердце до сего дня, была как бы родной сестрой Миры. Чрезвычайное сходство не только лица, но и физиогномики, улыбки, движений, голоса напоминали мученику дни восторга, дни надежды, дни счастья... очень короткого. Никто в соседстве даже не знал о том, что пан Орбека был женат, был предан, и когда развод у него вырвал жену, он решил, несмотря на её неверность, остаться верным своей клятве до смерти.

В эти минуты этот явившийся ему призрак любимой, освежённый, помолодевший, как бы очищенный от прошлого, аж до безумия его экзальтировал. Он должен был использовать всю силу и мощь характера, чтобы не броситься под ноги того призрака, но сидел рассеянный, как на горячих углях, горя и бледнея попеременно, молясь, чтобы обед как можно быстрее закончился и избавил его от этого испытания, которого боялся с каждой минутой всё больше.

Как наперекор, когда рюмки пошли по кругу, за здоровье хозяев, подкомория, подкоморины, прекрасной Миры, дочек, кузинок, каждого гостя в отдельности, «Будем любить друг друга» и «Лишь бы нам было хорошо» и т. д и т. д., не было конца виватам и сидению. Некоторые выскользнули, но главным особам не годилось встать из-за стола. Все немного были повеселевшими в этом розовом настроении, которое осмеляет, сближает и делает не слишком внимательным на то, что делается вокруг. Была это минута, выбранная прекрасной соседкой для попытки штурма покорённого уже и так человека. Она обратилась к пану Валентину с улыбкой и опьяняющим, слёзным и таким невинно смелым взглядом.

– Можете ли вы также любить такие шумные общества? – спросила она его потихоньку. – Я признаюсь, что хоть они в обычаях нашего края, вынести их не могу. Даже живя в столице, потому что я долго пребывала за границей и в Варшаве, ищу тихого уголка, чтобы поглядеть на свет. Не скажу, чтобы в нём не нуждалась, в этом свете, в котором движение, жизнь, в головах и сердцах которого кипит и готовится будущее, но это для меня сцена, которую я только из моего ложа хотела бы просматривать.

Пана Валентина опьянял её взгляд, опьянял звук голоса, заслушавшись, он блаженно улыбнулся, а когда кончила, в течение минуты он, казалось, прислушивался ещё. Ответ его был неотчётливый, слова путались на губах, думал, что кажется ей дивно обычным или необразованным, но он имел дело с женщиной, которая читала в мужчинах, как в открытых книгах. Она поняла, что впечатление, какое производила, подбадривало его – она торжествовала, поэтому с этим смущением он показался ей лучше, чем бы представился с самым большим остроумием.

– А! И вы не любите шума, – сказала она, – так я заранее догадалась по тому, что мне о вас говорили. Правда то, – добавила она живо, но опуская глаза и снижая голос, – что вы выезжаете в Варшаву и Львов?

– Да, пани, очень скоро.

– Я также не думаю тут долго пребывать, – шепнула она будто бы неспециально, а в действительности с глубоким расчётом, – возвращаюсь в Варшаву. Ведь могу иметь надежду, что вы будете считать меня там за хорошую знакомую и захотите навестить? Я живу одиноко, мало кто у меня бывает, развлекаюсь музыкой, книжками, имею маленький и избранный кружок, меня не связывают никакие обязанности.

– Как это, пани? – прервал неловко, выдавая себя, Валентин. – Вы...

Мира смело подняла на него глаза и, угадав вопрос, отвечала очень просто:

– Я была замужем, но уже нет. Я много претерпела и желаю остаться свободной.

Орбека не смог утаить радости, которая воспламенила его лицо. Мимолётным взглядом Мира ухватила её, но, казалось, что у него были опущены глаза и она не видит ничего.

Хотя привыкшая к лёгким победам, к чудесам, красивая пани удивлялась, однако, сама той, которую, очевидно, одержала в эти минуты – что-то для неё в этом было необъяснимое. Рассчитывала на гораздо более кропотливое завоевание, на сопротивление, на борьбу – этот лёгкий триумф её беспокоил, могла ли разочароваться в человеке?

Среди прерываемого разговора, на который обращены были только внимательные глаза женщин, рухнули стулья и лавки, все поднялись из-за стола. Орбека подал руку хозяйке, обществу с рюмками, с песнями, с процессией прошло в гостиный покой.

Но там было слишком жарко, поэтому одни начали выходить под липы, другие на крыльцо, иные в сад; общество делилось, разламывалось, собиралось в группы, согласно родству.

Подкоморина, однако же, схватив главного гостя, того, который был ей наиболее важен, не думала его отпустить так легко. Имела она свои проекты и держала бедного разговором на привязи; счастьем, неподалёку сидящая Мира говорила ему гораздо больше занимающим взглядом, который играл по всем давно онемелым струнам в сердце несчастной жертвы.

Подкоморине очень было важно, чтобы её дочери порисовались всё-таки перед знатоком музыкой, которой учились от мадам француженки, специально привезённой для придания лоска их образованию. Было это приготовлено тайно, Ванда имела сонату Моцарта, а Эвелинка вариации Гелинка. Надо было, однако же, так уметь как-то навести разговор, чтобы панна будто бы невольно и принудительно сели к венскому клавикорду.

Он стоял открытым, а пан Валентин хорошо догадался, что это значило. Говорили о разных, всевозможных предметах, даже о музыке, а Орбека сам согласился на просьбу, чтобы панна сыграли, за что подкоморина была ему очень благодарна. Поэтому панна села Ванда за сонату, которую знала отлично, играла прелестно, хотя её вовсе не понимала.

Все восхищались, Мира больше всех, в её глазах летали какие-то дьявольские искры.

Вариации Гелинка, в которых были, как тогда называли, скрещивающиеся пьсы, то есть переключивание рук, правую к басу, левую на высшие ноты, произвели фурор. Панна Эвелина встала от клавикорда розовая как пион, но счастливая, что это трудное море осилила и приплыла в порт.

По очереди девушки начали настаивать и просить пана Валентина, чтобы сыграл; несчастный человек, имеющий наивысшее отвращение к показухе, чуть не убежал сразу, но Мира шепнула ему словечко и он заколебался.

– Чем же меня могут волновать эти люди? – сказал себе в душе, осмеливаясь, пан Валентин. – Сыграю для этого призрака дней моей юности, поймёт ли меня кто, или нет, дрогнет ли в ком сердце, вытеснит ли слезу, или я вызову равнодушный смех, чем же мне это навредит?

Венский клавикорд был отличный, душа мечтающая; Орбека стоял, качаясь, смягчался, дал проводить себя к стулу, забыл в конец концов о толпе, что его окружала.

В зале царил тишина, с крыльца только через открытую дверь весенний ветер приносил фрагменты речей и выкрики попивающих старый мёд и венгрин.

Мира, опершись на стол, сидела в уголке, в стороне, но так, что и он её, и она его могла видеть. Лицо Валентина облачилось вдруг таким торжественным выражением серьёзности, восторга, елейности, что даже непостоянная кокетка почувствовала себя взволнованной. По нему видно было, что в минуты, когда он должен был коснуться клавиш, внутренняя музыка играла уже гимн боли в его душе; он подошёл к этому клавикорду, как энтузиаст к посвященной арфе.

Почему он выбрал сонату Бетховена (ре-минор), этого сам, наверное, не знал. Бетховен был его любимцем. Едва он коснулся клавиш, свет исчез, не видел уже даже Миры, которая

пожирала его слёзными глазами, забыл, где находился, кто его слушал, дьявол мелодии схватил его за плечи и нёс над землёй, чтобы потом бросить и разбить его об неё.

Труд гения имеет то в себе, что когда его творит огненное вдохновение, тогда, хоть непонятное, неясное, становится понятным для всех, говорит языком, который потрясает каждую душу. Та же соната, неумело прочитанная, может, вызвала бы улыбки, сейчас выжимала слёзы, затрагивала сердца, создавала беспокойство, которое рисует...

Валентин играл самозабвенно, игра его притянула толпы; стояли в молчании, удивлённо, беспокоясь, куда их этот человек с собой ведёт, чувствуя, что летят в миры, в которых не бывали.

Мира скрыла лицо за шторкой, плакала, была сокрушённой, взволнованной, чувствовала себя маленькой и бессильной.

Минутой назад она ещё владела этим человеком, теперь он похитил её душу и бросил под ноги и, казалось, топчит её.

Когда Орбека закончил наконец игру и оглядел окружающих, которые минуту стояли в молчании под впечатлением его игры, прежде чем хором начали аплодировать, сделалось ему стыдно, больно, как если бы перед чужими людьми обнажил душу, рассказал её тайны, исповедался во всех страданиях жизни.

Он был унижен. Среди поздравлений приблизилась Мира и, сжав ему руку, сказала только:

– Пανε, я плакала.

Это слово осталось в его сердце.

Гости постепенно снова начали расходиться на свои места, но эта музыка некой серьёзностью облачила самых весёлых, точно голос костёльного колокола. Валентин отодвинулся в угол, имел мысль сразу уехать, сил ему не хватило; он смотрел на Миру.

«Кто же знает, – говорил он себе в душе, – может, никогда её не увижу, разум приказывает не искать, старая боль подсказывает избегать, возраст не для мечтаний; я достаточно страдал, почему бы дольше не посмотреть на неё?»

И сидел как вкопанный, ведя рассеянный разговор.

Он не знал о том, что если бы более искренно желал выйти и попасть домой, было это невозможным; подпоили людей, собрались кружки, хозяин, неизвестно по каким причинам, решил не выпускать гостя до белого дня. Для иных была поблажка, дали ускользнуть некоторым, за Орбекой внимательно следили.

Пани дома так управляла обществом и движениями в салоне, чтобы одну из её дочек пан Валентин имел всегда перед собой. Знали, что он не танцует, и только это воздерживало от танцев перед ужином. Дивным случаем державшаяся вдалеке Мира как-то постоянно встречала взор Орбеки. Казалось, она его избегает, он стыдился этой навязчивости, и, несмотря на манёвры, их глаза, едва обернувшись, сходились каждую минуту. Девушки ещё играли и пели, невзирая на разговоры; хотели ещё попросить гостя, но он не дался, был сломлен; наконец одной из девушек, может, немного злобно, пришло на ум напасть на Миру, чтобы и она сыграла. Едва эта мысль была брошена, все подхватили её, окружили. Валентин пришёл с другими; мужчины встали на колени с рюмками, целовали ноги, хотели её силой отнести к клавикорду Мира поначалу зарумянилась, вздрогнула как бы от гнева.

– Как же вы можете требовать от меня, – сказала она, разрывая перчатку, – чтобы я играла после вас?

– Почему нет? – отпарировал Валентин. – Я не артист.

– Значит, это было какое-то рисование... какие-то гонки? – спросила она.

– Нет! – воскликнул Орбека. – Я это понимаю иначе. Каждый из нас имеет что-то в душе, к той мысли своей подбирает музыку, какая её лучше всего выражает. Те девушки пели песенки свежие и мелодичные, как их молодость, я исповедал мою бурю и сомнение.

– А что же я вам нового скажу? – живо прервала Мира. – Не находите, пан, что, может, я не хочу исповедовать то, что чувствую? И что, щебеча то, чего не чувствую, выставлю себя на смех?

– О, душа моя! – прервала пани дома. – Что вы там философствуете? Играй, что умеешь.

Мира так же, прежде чем села, казалось, боролась с собой, но в глазах её разгорелся огонь, бросила порванные перчатки, платок, и смело пошла к клавикорду. Тишина, великая тишина разошлась по салону, а она была нужна, чтобы услышать первые звуки той сонаты Бетховена, которую называли *Nocą księżycową*.

С первого прикосновения к клавишам Валентин вздрогнул, узнал мастера; клавикорд пел под пальцами, музыка казалась не тяжело дающейся, но льющейся из каких-то недостижимых сфер.

Более ординарные знатоки и слушатели ошибались в простоте этого широкого выступления, подозревая Миру в небольшом опыте, но после этого гимна наступила загадка, которую кому-то захотелось назвать «цветком, висящим между двух пропастей»; затоптав тот цветок, Мира бросилась на последнюю часть, полную бурь, молний, безумную, насмешливую, слёзную, страстную и действительно отлично рисующую состояние её души!

Только тут засиял весь талант виртуозки. Валентин, который поначалу сидел ошеломлённый, встал, закрыл руками глаза, воспламенился. Что-то такое он испытал в душе, какое-то беспокойство так его бросало, что сначала хотел убежать, едва силой своей рассудительности сдержался и остался.

Неописуемые аплодисменты сотрясли всю залу, все согласились с тем, что игра Миры была прекрасней всех.

Валентин приблизился, поцеловал ей руку и сказал глухим голосом:

– Я был бы счастлив, если бы когда-нибудь в жизни так мастерски сумел выразить мысль.

Вы одна – мастер.

Мира, уже вполне остыв от волнения, счастлива была только от полученного триумфа. Струны чувства отзвучали, звучало самолюбие. Буковецкая поздравляла, но кисло; панны восхищались, но мрачно; после этих демонстраций погрузнели, когда из другого покоя, в самое время, зазвучала привезённая капелла, а хозяин, подав руку матроне, достойной пани судейше, начал полонезом.

Как могли показаться скрипка слепого Аронка и контрабас с кларнетами после тех торжественных звуков, мы не скажем, но для молодых ушей была эта музыка более милым вестником, чем первая. Мира, которая была страстной танцовщицей, задрожала, бросила взор на мрачное лицо Орбеки.

– Вы танцуете? – спросила она.

– Никогда!

– А! Жаль! А я так страстно, так безумно люблю танцевать.

Молодёжь толкалась, приглашая уже на мазурку; красивая варшавянка искала глазами партнёра на танец, восемнадцатилетний Стась, сын пана судьи Досталовича, получил первенство; юноша был красивый, а выражение его лица таким полным сладости, что его не раз в девушку в шутку передевали. Кокетка, как удочку, бросала на него взгляды, уставляла на него взор, и он пришёл к ней послушный.

– Я выбираю себе вас танцором на весь вечер.

Стась засиял, он давно пожирал её глазами, о бедном пане Валентине не было уже ни речи, ни мысли, ни взгляда на него. Орбека после полонеза удалился на крыльцо, выкрал свою шапку и имел коварную мысль вернуться домой, чувствовал, что дальнейшее пребывание становилось всё более опасным, голова и сердце обманывались, а эта женщина уже вовсе о нём не думала. Улыбалась ангелоподобному Стасю, который, казалось, уносится с ней на седьмое небо. Пара эта была премилая.

Мира, будучи послушна только влечению, не расчёту, вовсе, однако, неплохо поступила, теряя из глаз Орбеку, потому что уже и хозяева на неё немного кривились, видя, как он её преследовал глазами, и гости шептались.

Таким образом она вполне оправдала себя, отстояла сердца хозяев и осчастливила Стася, который дал бы уже за неё разрезать себя на мелкие кусочки. На крыльце, где сидел Валентин, прежде чем сумел вырваться, появилась панна Ванда с мамой, которую почти сразу вызвали; Орбека остался с красивой девушкой, которая, вся дрожащая, едва могла с ним говорить.

И он также не был более смелым, чем она. Она бы хотела вырваться к танцующим, он – убежать домой, её сердце билось каким-то страхом, у него – неизмерной тоской и усталостью.

Привыкший долго к тишине и спокойствию, он исчерпал за этот вечер все силы – желал как можно быстрее быть наедине с собой и отдохнуть с мыслями.

Но из вежливости он должен был развлекать панну, которая со своей стороны старалась забавлять его как умела. Как бы специально этот разговор один на один, которым невинный ребёнок не умел пользоваться, чрезвычайно продлился. Только теперь Стась, ищущий девушек для какой-то фигуры в мазурке, пришёл её похитить, чему, наверное, была очень рада, а Валентин, пользуясь одиночеством, двинулся через сад к конюшням и своим коням. Там, однако, он напрасно искал возницу, все развлекались на фольварке, никого найти было невозможно. Следовало или возвращаться пешком в Кривосельцы, или в салон. Из двух вариантов пан Валентин выбрал первый; ночь была тихая, лунная, прекрасная, и хотя был приличный кусок дороги, привыкшему к деревенским прогулкам не показался он страшным. Поэтому один, с мыслями, картинами, впечатлениями и горечью в сердце не спеша пошёл он по тракту, оставляя за собой сияющую от света усадьбу Буковецких.

ROZDZIAŁ III

Когда опомнились, что Орбека исчез, он уже был слишком далеко, чтобы думать погнаться за ним; огорчился только Буковецкий, узнав, что должен был идти пешком.

– Уж так не годилось поступать, точно из неприятельского дома! Я должен ему также за это сделать выговор!

Из разговоров проходящих Мира услышала, что пан Валентин исчез, но её это мало или вовсе не взволновало. Первые впечатления стёрлись уже весёлым танцем, а Стась был такой красивый, румяный парень, полный жизни и молодости, что, оперевшись на его руку, можно было о миллионах одичалого, грустного, увядшего Орбеки забыть.

Помимо Стася, при живой, весёлой, остроумной разведёнке крутилась молодёжь, окружающая её и держа в осаде. Стреляли и отстреливали взгляды, двузначные слова, многоговорящие улыбки, молодёжь теряла голову, шалела, панны стояли немного пренебрегаемые сбоку, Буковецкие были мрачны. Вчерашние хорошие впечатления стирались перед очевидностью, варшавская кокетка казалась им опасной.

– Знаешь, друг мой, – шепнула Буковецкая, – так сосуд смолоду нальётся...

– О, да, да, моя благодетельница, – отпарировал он, – что-то мне это уже не по вкусу. Пусть бы, чёрт возьми, выбрала себе одного, но баламутит всех.

– А я спрашиваю тебя, хоть это моя родственница: зачем она сюда к нам приехала? Как ты думаешь?

– Ха, ну, может, пожить.

– Покорно благодарю, не желаю этого, для моих девочек.

– Или думает, что здесь легче в третий раз выйти замуж.

– Ты заметил, как она бесстыдно этого Орбеку ловила, он хорошо сделал, что убежал.

– Гм! Гм! – сказал Буковецкий. – Если захочет, сумеет его найти.

– Он ей не дастся.

– Это вопрос.

Только во время ужина разгорячённая водоворотом танца и безумия Мира заметила, что обратила против себя всё женское общество и хозяев, вскружив голову молодёжи; поскольку молодой Стась меньше всего её компрометировал, она обратилась к нему, а скорее начала отправлять более или менее невежливо, но решительно. Постаралась немного помириться с хозяевами, но с теми пошло как-то тяжелей, а когда перед утром уже уходила в свою комнату, один только обезумевший Стась её провожал.

Нам необходимо написать более обширную монографию этой женщины, чтобы дать вам её лучше узнать. Это тип был вовсе не редок, хотя экземпляр дивного в своём роде совершенства. Создание, в котором, быть может, билось сердце, но только под горячим впечатлением настоящего. Между вчерашним днём и завтрашним для неё не было никакой связи, одно не ручалось за другое. Страсти, фантазии, желания стирались по очереди. Было это настоящее хлопковое сердце, которое, сжатое, принимало на мгновение форму, ему данную, но тут же потом могло также принять другую, ничто постоянное на нём не рисовалось.

Голова и воображение вели её скорее, чем чувства, любила головой, ненавидела ею, но в этой голове царил дивный хаос и постоянное желание новых вещей. Были минуты, когда Мира становилась чувствительной, готовой к самопожертвованию, когда умела любить, была покорной, слезливой, сердечной; жалела о своих грехах, признавалась в них, гнушалась ими, но – увь! – были это только мгновения. А после них наступали безумства ещё более горячие, может, ещё более дикие. Была это жизнь горячек, драм, измен, слёз и улыбок, отчаяния и счастья, порезанных на мелкие кусочки.

Пережив много начинающегося счастья и отчаяния, которые должны были быть вечными, Мира никакого опыта из них не вынесла, мечтала как в первые дни весны, пила сегодняшние удовольствия, не заботясь о горечи, какую они после себя оставляли; бросалась в боль, которую любой более мягкий порыв рассеивал. Словом, было это то «ветренное» создание поэта, фигуре которой завидуют ангелы, а в душе которой, может, не столько было зла, сколько неизлечимого легкомыслия.

Вернувшись в свой покойчик, уставшая, радостная, с мазуркой в голове, с шёпотом Стася в ушах, опьянённая триумфами, она упала на кровать, сказав себе, что нужно было серьёзно подумать о завтрашнем дне. Но это решение развеялось зеванием, сон пришёл склеить веки, и в мечтах она танцевала ещё, но уже только с Орбекой.

Она проснулась, удивлённая сама, что из всех, даже красивого Стася, более глубокое впечатление произвёл тот бедный, увядший человек, который так невежливо убежал, не попрощавшись.

В усадьбе после вчерашнего пира все спали, поэтому Мира имела время написать следующее письмо своей подруге, пани Люлльер, в Варшаву:

«Дорогая Пулу, я обещала тебе описать моё путешествие и открытия в диких краях, и хоть невыспавшаяся, ужасно уставшая, данное слово сдержу, ты должна быть мне благодарной. От тебя не имею тайн; ты знаешь, что я выбралась в эти Индию, ища немного новых приключений и немного, может, нового товарища для дальнейших экспедиций, потому что мне уже одной и скучно, и слишком долго так ни вдова, ни замужняя. В вашей Варшаве все со мной освоились, а это есть свет, что разводится, а не женится. Я, значит, поехала к достойной тётке. А! Представь себе, дороги в состоянии первобытной невинности, колеи повывиты до внутренности земли, страшная грязь, ужасные корчмы; но леса цветущие, благоухающие, весна волшебная. Через несколько дней паломничества, сломав только два раза мою золотую каретку, немного поломанная сама добралась до тётки. Дом патриархальный, шесть девушек на выданье, балы, как кажется, каждый день, или через день, музыка составлена из евреев и цимбал, общество извечное, но молодёжь живая, охочая и парни ладные, как кровь с молоком. Пир Вальтазара! Что эти люди тут едят! Не имеешь представления, я устроена, глядя только на это. Тётя и дядя de bien braves gens a l'antique приняли меня сначала холодно, потому что меня, видно, опередила какая-то репутация, et on est severe et rigide a la samragne, но я потом их сразу задобривала.

Представь себе, что я наткнулась на разновидность балика; был это пир, данный в честь, или уже там не знаю, как назвать, некоего пана Орбеке, который из бедного шляхтича стал миллионным паном, от наследства дяди.

Этот Орбека un original, misanthrope, сухой, жёлтый, не старьёй, не молодой, жизнь провёл на деревне над книжками и клавикордом, с одной собакой и слугой. Его только эти миллионы вытянули на свет. Вот, представь себе, я покорила его сразу. Смотрел на меня с восхищением, в каком-то ошеломлении, точно на создание своих грёз, дрожал, говоря, бормотал... говорю тебе, я захватила его; играет очень хорошо, ты знаешь, Лулици, что и я неплохо играю, когда хочу. Вот, в этот день я захотела и вскружила ему голову сонатой Бетховена.

Если ещё где-нибудь мы встретимся на свете, этот человек – мой. Непривлекательный, немолодой, какой-то грустный, слишком сурово выглядит, но миллионный. В худшем случае, в свадебной интерцезе можно себе обеспечить une retraite honorable, avec 50 mille forins de rente. Ce' n'est pas le bout du monde, mais c'est quelque chose. Всерьёз подумываю о нём.

К несчастью, начались под вечер танцы; он не танцует, а у меня страсть к мазурке, я бросила его в углу, потому что попался хлопчик как куколка, а был выбор! Мы пробезумствовали с ним до белого дня, но я потеряла из глаз мизантропа, который, возможно, пешком

пошёл домой. Не имею надежды, чтобы могла подхватить его здесь, но поймаю в Варшаве, куда он поедет.

Я также тут долго пребывать не думаю, как особенность, *une couple de jours*, в этой пустыне, понимаю, что жить невозможно. Весь этот свет такой какой-то развязный, а, несмотря на это, – *d' une sèverité!* При этом одеваются, едят, пьют смешно. И парикмахера совсем нет, а за *marchande des modes*, пожалуй, в Варшаву посылать.

Мне также кажется, что вчера я как-то неосторожно торжествовала, местные девушки, матери, отцы криво на меня смотрят. Буковецкие, очевидно, опасаются. О! Мне всё одно, я не выжила бы их зразами и бигосами. Сегодня во всём доме так слышно капусту, что пишу, держа под носом флакончик, потому что меня аж душит.

Но для приличия проведу тут несколько дней, вскружусь голову крестьянам, влюблю в себя Стасика, чтобы всю жизнь вздыхал по мне, оставлю ему колечко на память и *adieu Messieurs!*

Невинный младенец! Если бы ты знала, как его руки дрожали, когда я, опираясь на его плечо, возвращалась под утро, какой горячий поцелуйчик запечатлел на конце моих пальчиков, уходя со вздохом, над которым я сердечно смеялась. *Mais un petit bout de roman naïf, cela rajeunit, c'est rafraichissant.* Не правда ли?

Я хотела бы описать тебе деревню, потому что ты её вовсе не знаешь, а шляхетский двор в деревне – *ah! que c'est drôle!* Я, хотя воспитывалась в подобном, но уже совсем забыла эти обычаи. Каждый из этих панов в состоянии съесть за день целого вола и выпить бочку пива, антал вина, *que sais-je?* – заездить десять коней. Всё это одето по-старинке, говорят громко, ругаются страшно, но в сущности, как я убеждаюсь, все под каблуком. Женщины всеильны. А! Какие женщины, моя дорогая, ты не представляешь себе этой накрахмаленности, той важности, смелости их вместе и наивности.

Раз выйдя замуж, свет закрыт, никто тут не слышал о разводах, *un mariage, c'est pour l'éternité; on y entre comme dans un cloître.* То утешение только, что устроен деспотично. Одеваются вечно, моды не знают; приходит она сюда, возможно, через пятьдесят лет только, когда о ней уже во всём свете забыли. Я долго бы тут выжить не могла, но увидеть это всё-таки стоило. Кажется, что через пару дней *sans tambour ni trompette* прикажу запрягать в золотую каретку и... появлюсь перед тобой одного белого утра, дабы обнять тебя, наговорится и насмеяться. Только я должна сначала узнать, что стало с моим миллионером, потому что *je n'en détordrai pas*, должен быть моим. Целую твои милые глазки. Мира».

ROZDZIAŁ IV

Вернувшись домой пешком, Орбека застал своего верного Нерона в углу беспокойным, ожидающим, Яська – на лавке, а коней – в конюшне. Поскольку возница, проведав об исчезновении пана, кратчайшей дорогой, имея надежду его нагнать, поспешил в Кривоселец. Они разминулись с паном Валентином.

– Слушай, Яська, – сказал Орбека старому слуге, – приготовь мне там, как сумеешь, всё для дороги, нужно ехать, а тут меня эти люди замучают поздравлениями. Бричку, какая есть, коней, каких Бог дал, какой-нибудь холоп повезёт.

– А я и Нерон? – спросил Ясек, наивно сопоставляя себя с достойным созданием, которое ластилось к ногам пана.

– Ты, мой старик, останься на страже дома, – сказал Орбека. – Сохранишь мне тут всё нетронутым, как было. Кто знает, как и с чем вернусь. Может, к нам возвратятся прежние тихие времена. А Нерон поедет со мной, – добавил он.

– Тогда Нерон счастливей меня, – шепнул Ясек.

– Нет, – сказал, обнимая его, Валентин, – но делаю тебя верным сторожем моего гнезда. Думай тут обо мне и проси Бога, чтобы я вернулся целым.

Слуга расплакался, а пан, может, для того, чтобы не показать слёз, быстро подошёл к погасшему камину и сел перед ним на долгую думу.

Спустя пару дней потом пан Валентин прощался с Кривосельцами, такой грустный, такой взволнованный, как если бы ехал не на жнивье золотое, но на предвиденные пытки. Сердце говорило ему, что должен был заново страдать, а предназначение гнало той неизбежной дорогой страдания.

ROZDZIAŁ V

Есть в жизни минуты ясновидения – самый упрямый маловвер, хоть объяснит это своим способом, факт должен признать, хотя бы назывался животным инстинктом, а не взглядом души. Как внезапный блеск пролетает перед нами будущее и мы чувствуем, что оно неумолимо, фатально; сломленная воля ему противостоит, послушная, как то слабое существо, которое в пасть змеи летит само, притягиваемое его взором, – склоняется, чтобы увидеть свою долю, хотя бы эта доля была самым сильным мучением.

Орбека, выезжая из дома, знал, что его в свете снова ждут тяжёлые разочарования и страдания, однако же ничего не делал, чтобы их избежать, сам шёл в пучину фатальности.

С очень давнего времени он не знал даже, что стало с его женой, вышедшей замуж за другого; на самом вступлении, прибыв в столицу, он узнал от приятеля, что овдовела, что была достаточно бедной.

Славский, старый друг пана Валентина, хоть носил мундир, был вполне свободный и незанятый. Занимался рисунком, искусством, читал, рисовал; он принадлежал к маленькому кругу любителей живописи. Бедный, тихий, не мечтающий о прекрасной судьбе, Славский жил со дня на день на маленькую пенсийку и мелкими работами. Его существование было грязным, бедным, зависимым, с одной стороны отирающимся о то, что страна имела самого прекрасного и богатого, с другой о самые бедные сферы работников искусства, более бедных, чем работники ремесла. К счастью, Славский не болел, как много псевдохудожников, фантастическими горячками, не жаловался на свет, не искал в нём насыщений и слишком сильных впечатлений, пил только воду, ел мало, а работал много. Со всех взглядов был это человек замечательный, хотя многие считали его холодным, заурядным, потому что не играл никакую комедию и не навязывался людям, а скорее защищался от них и обособлялся.

С Орбекой они встретились на улице; Славский не знал о перемене его судьбы, о наследстве, о миллионах, и приветствовал его удивлённый:

– Что ты тут делаешь? Зачем было выезжать из деревни, где мог спокойно работать?

– Ты имеешь право спрашивать, – отвечал Орбека, – но ты ошибаешься, думая, что я сделал это по доброй воле.

– А что же тебя вынудило?

– Ничего не знаешь?

Славский пожал плечами, и только теперь узнал всю историю, и лицо его нахмурилось. Совсем наоборот, не как делают обычно люди, он привык избегать богатых; достойный Орбека уже его испугал. Едва по старому знакомству он сумел его силой удержать и вести с ним более долгий разговор. Но Славский уже был осторожен.

От него узнал пан Валентин о вдовстве своей жены и бедном её состоянии, и его посредничество использовал, чтобы поддержать её пожертвованием, о происхождении которого она бы не догадалась. Сначала его что-то тянуло к несчастной, но какая-то противная сила удержала.

Вынужденный заняться делами, немного выходил пан Валентин, мало кого видел, кроме юристов и Славского. Нужны были опера, музыка и уговоры Славского, чтобы его вечером вытянуть в театр, итальянская примадонна выступала в новой опере; Славский, хоть сам не музыкант, страстно любил пение, Орбека дал ему отвести себя в театр.

В неудобно устроенной зале они застали непомерную толчею, особенно большого света, модников, франтов, как их тогда называли (сегодняшних львов), и модных красоток.

Хотя все пришли будто бы слушать музыку и пение, меньше всего, однако, было слышно и того и другого, опоздавшие зрители входили захмелевшие после обеда, громко разговаривая, красивые дамы в ложах смеялись на всю залу; стучали дверями, кричали с одного конца театра в другой. Только на главной арии той итальянки сделалось немного тише, прослушали её

немного внимательней; но после аплодисментов, которые извещали о конце, гомон и шум начались заново. Славский имел возможность показать Орбеке самые яркие звёзды этого Олимпа, самые красивые лица, к каждой из которых была привязана какая-нибудь история, самые видные фигуры эпохи, отличившиеся в разнообразных профессиях.

Беседа между двумя приятелями, которые занимали хорошее место в низкой ложе и были почти скрыты от любопытных глаз, шла очень живо, когда вдруг Орбека схватил за руку Славского и указал ему на одну из лож на балконе, в которую как раз входили две нарядные пани.

– Ты, что всех тут знаешь, – сказал он, – сумеешь мне, верно, что-нибудь поведать и об этих двух красивых личиках.

Славский минуту смотрел.

– Одна из них есть всё-таки пани Луллер, которую не знать не годится, – отвечал он.

– А другая? – спросил Орбека.

– Другая не менее славная, или, если предпочитаешь, ославленная, экс-баронова фон Зугхау и экс-подчашина, на языке модников известная под именем прекрасной Миры.

– Я именно потому спрашиваю тебя о ней, что недавно её встретил в деревне, и удивляет меня, что уже нахожу её в Варшаве.

– А! Ты встречал её! – отпарировал, смеясь, Славский. – Ежели знала о том наследстве, можно удивляться, что тебя целым выпустила.

– Ты знаешь её? – спросил Орбека.

– И я её встречал в нескольких домах, в которых я бываю, потому что она бывает везде, но со мной это что-то другое, я стою в углу, не отличаюсь ничем, глаза женщин этого рода не стреляют в такую бедную дичь, миновала меня экс-подчашина, не обращая внимания.

– Всё же это дивно красивая женщина, – воскликнул Валентин, – если бы ты знал, как играет!

– Это сирена, это самое опасное из искушений, это хамелеон, который каждую минуту меняется, но это женщина без сердца, без совести – и без жалости.

– Ты суров.

– Снисходительным, – сказал Славский, – я мог бы сказать хуже, но я её понемногу оправдываю тем, что нет тут, может быть, и одной женщины, которая бы того же бремена, что она, не имела на совести, только в меньшем количестве. Нужно за что-то считать атмосферу, в которой живём.

– Значит, она не опасней других?! – сказал Орбека.

– Пусть так Бог судит, – отвечал Славский, – я в целом не признаю за людьми права судить о ближних. То, что Христос поведал о бросании камня, я понимаю в том смысле, что мы все всегда в других судим нашими собственными делами. Нужно быть ангелом, чтобы изречь справедливое суждение о человеке. Где и к какому приговору не примешается слабость людская?

– Можешь мне, хоть не осуждая, что-нибудь поведать о ней? – спросил Валентин.

– Мало. О мои уши отбилось много вещей, но то личико не очень меня занимало, не допытывался, не следил за ней. Достаточно мне было поглядеть, чтобы задрожать. История очень простая, неизмеримо банальная. Молодую выдали её за старого, то была, может, первая причина, из-за которой бросилась в свет, не имея чем сердце накормить дома. Молодой парень сбаламутил её, развод и... не женился, потому что семья не допустила. Потерял из-за неё значительную часть состояния... разделили их. За ним последовал князь С, который, как говорят, обещал жениться, но, получив от жены пощёчину, рассудив, что то, что имел, пошло всё на красивые глазки, что крах грозит, отступил. Позже на ней женился подчаший, но не долго выдержал, потому что красивая пани носила, по правде говоря, его фамилию, тратила его деньги, жила в его дворце, но с ним жить не хотела. Последовал развод на достаточно, возможно, выгодных для пани условиях. Муж спас часть состояния, отпуская остальное шутнице.

Говорят, что и эту уже пожрали путешествия, фантазии, наряды, расточительность всякого рода. Не считаю тех иных жертв, которых называют, обворованных, полупрогоревших либо полностью уничтоженных красивой Мирой, имеет она тут славу ненасытного до денег обжоры. Не может обойтись без них, на то, чтобы выбросить их в окно. Но с некоторого времени все её остерегаются. Она имеет неслыханное обаяние и умеет делать из себя, что захочет, даже невинную, скромненькую девушку. Ничего это ей не стоит, имеет это в натуре.

Когда Славский с хладнокровием анатома рассказывал, Орбека всматривался в нарядную пани, которая смелыми глазами пробегала театр, головкой и улыбками разбрасывая поклонны бесчисленным знакомым. Она была одета с большим вкусом, с розой в волосах, с изумрудным ожерельем на белых плечах, с обнажёнными ручками, вся в кружевах и газах. Выглядела как цветок в нарядной свеженькой карзиночке. При этой весенней свежести её гасли другие женщины, выдаваясь старыми и увядшими. Покой и мягкость были разлиты на её личике, я сказал бы, что ещё не начала, не знала жизни.

Едва она показалась в своей ложе, несколько молодых людей вбежало к ней с букетами, со смехом, с навязчивой рекомендацией, которые она принимала как почтение, следующее ей. Двое или трое старших господ притянули её глаза из партера, дверь ложи закрыться не могла, такая там толпа сделалась около неё; но она по-быстрому разогнала ненужных, позволила остаться двоим или троим и, опершись на край, начала приглядываться к публике.

Она внимательно пробегала по очереди ложу за ложей, лавку за лавкой, делая разнообразные замечания, над которыми она и её окружение смеялось до упаду. Много глаз обратилось на этот весёлый шумный уголок, но она как раз себе этого желала.

Молодой человек стоял за ней, будто адъютант.

– Мой пане Иероним, – воскликнула она, обращаясь к нему, – помогите мне; кто там сидит в тёмном углу, внизу, в партеровой ложе? Вон тот... вот здесь... – рукой указала на Орбеку.

– Славский.

– Но я его знаю, знаю, не о нём спрашиваю. Кто с ним?

– Этого я не знаю.

– Мне кажется... но, может, я ошибаюсь. Пане Иероним, пойдите на разведку к Славскому и принесите мне информацию – но обязательно.

– Славского я знаю мало.

– Что же мне до этого, когда я хочу, – добавила она с ударением, – когда я приказываю. Всё-таки ты должен знать – то, что я хочу, должно стать. *Ce que femme veut...* Ты был бы самым непутёвым на свете, если бы не смог узнать.

Иероним уже собирался выйти.

– Подожди, подожди, – прервала она, – уже не нужно, уже знаю, я уже уверена. Да, это он, он обернулся, я узнала его. Но как же зовут! О! Это всё равно, я уверена, что это он. Да! Он должен быть в Варшаве. Иероним, золотой, дорогой, дам тебе кончики пальцев поцеловать, пойдёшь и попроси его завтра ко мне на обед, вместе со Славским.

– Но... – заколебался Иероним.

Мира топнула ножкой и ударила его веером по плечу.

– *Mais je vous dis qu'il n'y a pas de* «но»... иди и исполни приказы.

Иероним поклонился и тут же вышел, через минуту он показался в ложе Орбеки, красивая пани глаз с неё не спускала.

Нужно было действовать смелостью.

– Как поживаешь, пане Славский? – воскликнул он, входя. – Прошу прощения, что так навязчиво вламываюсь, но есть чрезвычайные ситуации. Сперва представьте мне господина...

Орбека зарумянился.

– Пан Иероним, пан Валентин Орбека.

Они поклонились друг другу.

– Когда молодая и красивая женщина упрётся и что-то приказывает, – произнёс Иероним, – нет спасения, нужно быть послушным; вы это, верно, знаете и простите мне, что так, может, немного невежливо выполняю это посольство от прекрасной Миры, которая за этим из своей ложи *credentiales* меня сюда прислала. Ведь пан Орбека знаком с ней?

– Очень мало, – сказал Валентин.

– Подчашина приглашает завтра обоих панов на обед.

Орбека, почти испуганный, побледнел, невольно глаза его обратились на ложе, а Мира, догадавшись, что это была решительная минута, взмахом веера подтвердила приглашение.

– Я надеюсь, что вы не откажетесь от приглашения, – смеясь, добавил Иероним, – поскольку в противном случае, получив решительный приказ, я должен был бы применить силу.

Приглашённые рассмеялись, но Валентин как-то грустно, а Славский добавил:

– Эй, пане Иероним, заверь нас обоих, что на этом обеде ничего не будет, а что если эта Цирцея превратит нас в каких-нибудь зверей; так как уже тебя превратила в отличного ездового скакуна. Это не мелочь – попасть под выстрелы этих глаз, я предпочёл бы под фортецией стоять, имел бы чем защищаться, мины, контрмины, а тут...

– А тут... – прервал Иероним весело, – ну, думаю, что вы придёте также вооружённый и ничего с вами не случится. Обед в два часа.

Он подал руку Орбеке.

– И вы боитесь? – спросил он.

– Я уже немного старый, – сказал несмело Валентин, – и возраст меня сам защищает; я был ни в одном огне, и хоть бы был раненный, а *la guerre comme a la guerre*.

Он говорил это, сам себе добавляя отвагу, которой в действительности не имел вовсе, бедный, потому что дрожал в духе, хотя этот страх показать не смел.

После выхода Иеронима в ложе царила минута молчания, глаза Валентина были опущены вниз, Славский был нетерпеливый и нахмуренный.

– Эта женщина в самом деле не имеет стыда, – воскликнул он через минуту, – вызывает тебя, это очевидно, потому что уже знает о том, что имеешь огромное наследство, а, может, чувствует тебя уже слабым. Не знаю, каким образом вы встретились в деревне, но не сомневаюсь, что эта мысль с первой минуты её поработила.

– Выйдем из театра, – сказал Орбека, – пройдемся по Саксонскому Саду, поговорим больше, я весь возмущён.

Глаза прекрасной Миры упали на выходящего уже Орбеку, которому поклонилась ещё веером, головкой, и фиглярно усмехнулась, как бы потихоньку шепча: «До свидания!»

Валентин вытер капли пота с лица, весь дрожал, схватил руку приятеля, и они быстро вышли... точно убегая оба.

Ночь была прекрасная, по небу пробегали белые волнистые облачка, среди которых иногда проглядывалась светлая луна; среди старых деревьев было полно прогуливающихся особ и весьма оживлённого общества, хотя сложенного из самых разных элементов.

Орбека долго не мог говорить; более холодный Славский, видя его смешанным, испуганным, и предсказывая из этого о плохом, начал первым:

– Это, – сказал он, – на вид вещь малого значения... пойти на обед к кокетке, но если бы я не чувствовал себя вооружённым, холодным, а чувствовал себя слабым, знаешь, что бы я сделал? Отказался бы из-за болезни и приказал коня запрягать, и убежал бы из города.

– Я как раз думаю, – отвечал Орбека, – не следует ли мне это сделать.

– Это было бы самым разумным, – говорил далее Славский. – В молодости я понимаю влияние той манящей силы женщины, говорит ей горячка, свойственная возрасту, но человек зрелый, для которого она не новость, от опасной болезни должен защищаться разумом.

– Да, – тихо выдавил Орбека сдавленным голосом, – я отлично всё знаю, что ты можешь поведать, потому что сам это себе говорю и повторяю, но...

– О! Есть, значит, но?.. – спросил Славский.

– Есть *но*, – вздохнул Валентин, – есть *но*, увы. Ты знаешь, что такое жить без сильнейшей привязанности к кому-нибудь, преданному, постаревшему в одиночестве? Говорить себе неустанно: жизнь кончится, я столько желал, а ничего не получил. Человек доходит до такого отчаянного желания, что если бы в поданном напитке чувствовал яд, предпочитает выпить, чем сохнуть от неутолимой жажды.

– Мой дорогой, – отвечал Славский, – я понимаю это состояние, потому что проходил через его огонь. И я мечтал о женщинах и женщине, и мне улыбались надежды, а бедность и связи толкали меня постоянно в объятия таких созданий, которые пробуждали во мне омерзение. Наконец, спалённый горячкой, я сумел сказать себе, что моя жизнь обойдётся без дорогой амброзии, что я лишённый, и со своей судьбой должен смириться. Нужно с собой обходиться по-мужски, сурово.

– И это я знаю, – сказал Орбека, – но кто не имеет мужской силы и энергии?

– Дорогой друг! – воскликнул Славский. – Тот... прости меня, тот в луже тонет.

– Фатальность!

– Нет фатализм, есть воля! Но нужно иметь отвагу её использовать.

– Тогда на что сдалась жизнь? – спросил Орбека.

– Послушай меня, понимаешь, – воскликнул, разогреваясь, Славский, – буду говорить долго и, несомненно, нудно, но ночь такая прекрасная, а ты в таком расположении духа, что можешь послушать. Для меня это милый случай открыть тебе свои мысли, которыми редко с кем в жизни делюсь.

Не думай, чтобы я не понимал того неземного счастья, какое может дать любовь; но такая любовь – это великая судьба, выигранная на лотереи жизни. Из ста тысяч людей один может её поймать.

Сколько же требует условностей эта идеальная любовь, чтобы была ясной звездой жизни, симпатий, темпераментов, страсти, гармонии характеров, искренности сердец, любви из тела и любви из духа, уважения, веры? Пусть найдётся один фальшивый тон в этой гамме, вся песня дисгармонией распряжётся. Такая любовь продолжительна, это *rara avis in terris*... такие сердечные пары считаются в истории особенностью. Поэтому мечтать о ней людям, хотя бы наиболее горячо жаждущим недоступного счастья – это напрасно потерять время и высохнуть на стебле.

Я жизнь понимаю иначе, минуя даже его важную, главную цель: совершенствование человека, возвышение его, облагораживание – это желание любви обращаю к иной цели, люблю природу, всякую красоту и то, что её воспроизводит – искусство. В нём ищу насыщения и ничем не замутнённых удовольствий. Так и ты некогда понимал жизнь.

При виде красивой картины, статуи, захода солнца, великолепной околицы, слушая музыку, читая поэзию, я наслаждаюсь, лечу за светом, живу, чувствую, что я высшее существо, и мне достаточно этого.

Минутка безумия, которую я горько бы оплачивал унижением, разочарованием, жалостью, кажется мне недостойной достижения, обижающего человека.

– Ты дал мне оружие для победного ответа, – ответил живо Орбека, – поэтому одно только тебе скажу: вся жизнь есть лотерея. Почему мне на неё ставить не позволяешь, когда всё есть ставкой на неопределённость? Почему я не должен быть тем единственным счастливым избранником из ста тысяч?

– Во-первых, потому, мой дорогой приятель, – сказал грустно Славский, – что сегодня, хоть с тёплым сердцем, ты уже не юноша; а поэтому ещё менее вероятно, чтобы пробудил

сильную любовь в женщине. Она будет делать вид, что привязана, обманывать тебя, ты сам будешь заблуждаться и...

– А если это для меня будет счастьем? Зачем же мне обязательно посылать на монетный двор своё золото? Если золотом будет для меня...

– Приятель, – сказал Славский, – кто так понимает, того уже убедить невозможно. Я в самом деле начинаю за тебя бояться, потому что хочешь быть соблазненным, а поэтому им будешь и...

– А если приобрету мгновение счастья? – спросил Орбека.

– Ты это называешь счастьем! О, человек! О, богохульник! Если в твоём уме стоит образ той женщины, не говори же о счастье! Этот кубок, может, полон, красоты, но отравленный! Для меня сама эта мысль, что женщина с тысячами непогасших воспоминаний, с нестёртыми ещё поцелуями бывших любовников... Нет, дорогой Орбека, не давай этому безумию, которое может тебя подхватить, ни имени любви, ни названия счастья. Ты был бы богохульником! Я тебе скажу, как это должно называться – распутством.

– Увы! – добавил через минуту Славский. – Распутство проест мир до костей. Исключительно ему надлежит приписать упадок рода людского. Именно во имя этой идеальной небесной любви я бросаю проклятие на то, что с ней сегодня сделали. Это соединение сердец, которое должно быть великим и святым, торжественной минутой жизни, изменили на звериное своеволие, не разбирающееся ни в чём, лишь бы распоясанное насытилось. Никто любить не умеет и потом удивляются, что нигде нет счастья, с супружества содрали то, что представляло его красоту и святость, из связи душ сделали быдло.

– Достаточно, – прервал Орбека, – признаю за тобой правоту, но оттого что нам перепало жить в этой испорченной эпохе, должны ли мы отречься от единственных лучших мгновений жизни?

– Позволь тебе сказать, что ты чересчур слабо защищаешься, или, скорее, слово бросаешь без мысли. Лицемерие этой женщины распалило тебя, а страсть не слушает уже ни рассуждений, ни аргументов. Я тебя люблю, я тебя жалею, и предвижу твоё падение.

– Что же мне посоветуешь? – спросил Валентин.

– Уезжай, складывайся, напиши письмо, извинись, я за тебя пойду на завтрашний обед.

– Посмотрим! – отпарировал тихо Орбека. – Доброй ночи тебе!

– Ещё слово: мне прийти завтра утром к тебе... чтобы тебя проводить?

– Да, подумаю, завтра утром... жду тебя завтра утром. Спокойной ночи!

Славский с болью сжал руку приятеля и ушёл домой, но ещё раз обернулся к Орбеке.

– Прости меня, – сказал он, подавая ему руку ещё раз, – я говорил с тобой, может, слишком открыто, неприятные вещи; мне казалось это обязанностью, я люблю тебя, мне было бы неприятно, если бы твоя дружба ко мне поколебалась.

– О, нет, никогда! – воскликнул, бросаясь ему на шею, Орбека. – В моей душе, там, глубоко, каждое твоё слово нашло отзвук. Но я слабый, сверх всяких слов слабый... Чувствую, что ты прав, что я иметь её не могу, и однако...

– Значит, выезжай завтра.

– Посмотрим.

Обнялись и разошлись. Славский пошёл к Железной Бреме, Валентин направился в противоположную сторону, к Краковскому Предместью. Стоял ещё тогда в Саксонском Саду павильон, позже снесённый, в котором прогуливающиеся находили охлаждающие напитки и лакомства. Хотя была уже поздняя пора, он сиял ещё светом и весёлое общество сновало вокруг него. Много особ выскользнуло из театра на прогулку, гомон и смех слышны были среди расставленных стульев, которые очерчивали большой круг. На стульях было полно нарядных дам, посередине множество господ, которые крутились около них, принося лимонад, оршад и сладости.

Орбека, возвращаясь, должен был обогнуть этот круг, и немного зашёл в тёмную аллею. Между нею и последним стулом как раз оставалось столько свободного места, сколько было нужно для прохода одного. Валентин, не глядя перед собой, с опущенной головой проскальзывал по этому узкому перешейку, когда почувствовал, что кто-то слегка его тянет за рукав одежды. Удивлённый, он поднял голову и чуть не крикнул от ужаса, увидев перед собой прекрасную Миру, которая, улыбаясь ему, показывала рядом с ней свободное сиденье.

– Садись, пан, тут, садись, а то вон тот старый зануда займёт стул, а я его ненавижу.

– Вы меня узнали? – спросил, садясь, пойманный Валентин.

– Но кто бы прибывшего из деревни, хотя бы очень приличного человека, не узнал в Варшаве? – сказала, смеясь, красивая пани. – А потом, без лести, черты вашего лица с того времени, как видела вас играющим сонату Бетховена, ни на минуту не забылись.

– Ах, пани! – пробормотал смущённый Валентин.

– Это *ах*... полно значения, – прервала его женщина, – не правда ли? Это *ах* означает, что вы мне не верите, что считаете меня льстецом, *tranchons le mot*, кокеткой. Такою, наверно, обрисовали меня люди... А! Сначала злобные языки меня очень ранили, но со всяким, даже с ранами, свыкаешься.

Я знаю, что имею ужасную славу кокетки, ветреницы. Думайте обо мне, как хотите... но не осуждайте по слову людей... заранее.

– Но, пани, – прервал Орбека, напрасно пытаюсь собраться с мыслями и найти слова.

– И это излишне, – воскликнула Мира, – потому что не поверю опровержениям. Всё-таки ни ваш приятель, тот достойный Славский, пуританин, не мог вам обо мне ничего хорошего поведать, ни даже моя дорогая родня... увы! У меня нет друзей!

– Зато у вас есть поклонники... – сказал потихоньку Орбека.

– *C'est ennuyant*, поклонники. Представь себе судьбу несчастной женщины, которую осаждают почестями круг таких, как вон тот, что стоит на часах сбоку, легкомысленных, как тот в пепельном фраке, остроумцев без сердца, как тот зелёный со стальными пуговицами... *tutti quanti!* А! Весь день слушать их гимны к солнцу, зная, что вечером пойдут к какой-нибудь Иоси либо Мариси с остатками этих комплиментов... А! Фи!

Валентин опустил голову.

– Ты боишься поглядеть на меня, что ли? – шепнула Мира. – Не вижу твоего лица, это мне неприятно, потому что подозреваю его в насмешливой улыбке.

Орбека поднял вдруг глаза и встретил огненный взгляд безжалостной женщины, которая почти с родом бесстыдства говорила ему глазами, чего сердцем сдержать не могла.

– Не удивляйся, пан, – начала она медленно шептать, кладя свою малюсенькую ручку на его руку, – что я так ловлю тебя, хватаю, арестовываю на дороге, тяну. Не объясняй себе этого как зло, прошу. Я признаюсь, меня и те люди, и то общество адски утомляют, я как тот, что постоянно съедает выпрошенные обеды, приготовленные одним поваром, и в конце жадно бросается на кусок здорового разового хлеба. Ты есть для меня деревенским разовым хлебом, здоровым и подкрепляющим, не испортил тебя город, не выветрился из тебя аромат человека, имеешь сердце...

Тут она умолкла, Валентин был очарован, мысль побега и отъезда упорхнула далеко; спустя минуту женщина говорила дальше:

– Я люблю быть даже до неприличия искренней. Это моё симпатичное расположение к тебе может показаться тебе, после того, что ты слышал обо мне, весьма подозрительным. Ты богат, я похожу на жадную и расточительную; естественно, подозревать меня можно в заинтересованности. Люди готовы думать, что снова бы замуж хотела выйти.

– Тут, в Варшаве, – отвечал дрожащим голосом Орбека, – сомневаюсь, чтобы это кому-нибудь могло прийти в голову, знают меня давно, знают, что был женат и что до сих пор считаюсь женатым.

На эти слова, сказанные непреднамеренно, Мира аж отодвинулась со стулом, но быстро сдержала своё удивление.

– Что же это за тайна? – спросила она.

– Это никакая не тайна, люди только, может, забыли о том, как о вещи малой важности. Да, пани, я был женат, был предан, жена моя принудила меня к разводу... вышла замуж.

– А, значит, ты не женат? – спросила живо Мира.

– Напротив, пани, я это иначе понимаю, кто раз был женат, тот всегда им есть.

Холодно, странно улыбнулась красивая пани.

– К этой тайне, – добавил медленно Орбека, – я должен добавить, поскольку мы в минуте доверчивых признаний, что вы с первого взгляда произвели на меня чрезвычайное впечатление.

– Ах! – усмехнулась Мира.

– Неслыханным сходством с той, которая... – он не мог закончить.

Красивая разведёнка как-то грустно закусила губы и покачала головкой.

– Ты говоришь мне вещи слишком неприятные, – отвечала она, – это сходство отбирает у меня всё очарование новизны, которое есть силой... я известное вам существо, ненавистное, тень предательства, воспоминание боли...

– И разочарование в надежде.

– Но скажи мне искренно, – спросила она, – какое это сходство пробуждает чувство?

– Великую грусть и великое очарование.

Блеснули красивые глазки, она рассмеялась.

– А! Это хорошо, – воскликнула она, – значит, мы старые знакомые, начнём давнюю историю с того места, на котором она неприятным образом была прервана.

Она зарумянилась немного, превращая это в смех и шутку.

– На что ты мне это сказал? – прибавила она. – Теперь сама не буду знать, как быть с тобой.

– О! Ради Бога! Без размышления, без расчёта, естественно, – прервал Орбека.

– Да? – спросила она, глядя ему в глаза. – Хорошо... подай мне руку и проводи до кареты, которая стоит на площади.

Потеряю только Лულер, которая так заболталась, что меня уже не видит, потому что я её забрать должна. *Eh bien Lulu!* Едем.

Лулер встала, провожаемая серьёзным мужчиной. Мира пустила их вперёд, сама опёрлась на руку Орбеки, а скорее схватила её и, щепча ему на ухо, что ей только что пришло в голову, опьяняя его, довела до кареты.

– Доброй ночи, – воскликнула она, вытягиваясь к нему ещё, – но помни, я жду тебя завтра на обед.

Тише она шепнула:

– Мы будем почти одни!

После её отъезда Валентин почувствовал, точно тащил за собой кандалы, но – был счастлив!

ROZDZIAŁ VI

Ожидая прихода Славского, Орбека загодя мучился упрёками, какие должен был от него услышать, напрасно искал аргументы, которыми мог бы сбить его, голос, которым бы его разоружил, но Славский, сверх всяких ожиданий, не явился утром, только перед самым обеденным часом он пришёл, убранный в мундир... задумчивый и печальный.

– Я знал, – сказал он с порога, – что ты не поедешь, зачем напрасно мне тебя мучить. Вчера вечером, взволнованный, хотя хотел вернуться домой, не мог внушить себе успокоение, и вышел прогуляться по Саксонскому Саду; видел тебя сидящего рядом с той волшебницей, шпионил, когда ты провожал её до кареты. Потом уже не сомневался, что решишь.

Валентин в молчании пожал руку приятелю.

– Смилуйся надо мной, – отвечал он, – но оставь мне судьбу...

– Сегодня уже молчу, – сказал Славский, – мне кажется, что договариваться с тобой было бы напрасно. Ты прав; жаль мне тебя сердечно, ты обречён на тяжкую боль. Ты знаешь эту женщину, знаешь, что только знать о ней можно, сам можешь предвидеть, что тебя ждёт и обязательно встретит... Сталось...

Замолчали; Орбека взял шляпу и вместе пошли к дому Миры. Вместе дошли они до сеней, разделённых стеклянными дверями, за которыми видна была убранная цветами и зеленью лестница. Эта благоухающая дорога привела их на первый этаж, лакей в галонной ливрее, гербовой, стоял у входа. Всё объявляло дом на большой стопе или, по крайней мере, желающий походить на очень панский и изысканный. Но в то же время во всём, что окружало, чувствовалась какая-то хрупкость, что-то фальшивое, не своё... В покоях, которые они проходили, полно было остатков великой былой роскоши, великолепных разнородных остатков, дорогих, смешанных с вещами слишком обыденными. Во всём убранстве апартаментов никакой гармонии, много скрытого беспорядка. Несмотря на это, жилище, как пани, имело какую-то притягательную прелесть, какое-то очарование свободы, что-то манящее, как неразгаданная тайна. А, чего только в нём не было! Бронза, алебастр, мозаики, картины, статуи, антики, гобелены, разбросанные дорогие книги, запятнанные, увядшие букеты, миниатюры, силуэты. Неумолимая фантазия этой женщины в минуту лихорадочных желаний собрала эти игрушки и skarбы, чтобы завтра бросить их в пыль и равнодушно забыть.

Этот хаос неуважаемых памятков, это кладбище страстной жизни представлялось чужому на первый взгляд достаточно весёлым и любопытным. Какой-то невольный инстинкт умел это всё, не думая, поставить так, чтобы притягивало оригинальностью. Был виден характер женщины, не думающей о завтрашнем дне, текущей с водой на произвол судьбы, в жалких мелочах... вчерашнее её счастье уже сегодня пыль под канаве засыпала. Бесценные сокровища, недавно покрытые поцелуями, валялись по углам, как брошенные любовники. Экзотические цветы, купленные, может быть, улыбкой и слезами, завяли неполитые, дорогая турецкая шаль, свёрнутая в клубок, заполняла какой-то неудобный угол канаве. Книжки в дорогих обложках виднелись, распластанные на стульях. Собрание картин Рафаэля служило для подъёма слишком низкого стула при фортепиано. Памятка несколькомесячных лихорадок, арфа, на которой пани училась играть, с порванными струнами, погрузневшая, покоилась в углу на покаянии, хотя недавно в несколько сот дукатов оплатили её привоз из Парижа, а с нетерпением доставая, упаковку велели изрубить на куски.

Так всё...

На мгновение перед прибытием гостей занялись покоями, чтобы привести их немного в порядок, но тот порядок был поспешный и поверхностный, за ним проглядывало долгое пренебрежение.

Свежие цветы плохо заслоняли увядшие, а аромат смешивался с каким-то странным испарением одновременно пыли и сырости. Почти королевская роскошь на одной стене противоречила с непонятным обманом, используемым для заслонения наготы другой.

Когда они вошли, в покоях ещё никого не было, хотя обеденный час приближался; несколько лакеев проскользнуло беспокойно и поспешно, как если бы не всё ещё было готовым.

Предусмотрительная хозяйка только что, на полчаса перед тем, выходя одеваться, припомнила множество необходимых вещей, которых не хватало на обед. Она хотела сделать обед изысканным, но, любя во всём роскошь и эпикуризм, меньше всего была способна состряпать его сама. Должен был кто-то за неё делать. Виденный вчера в ложе юноша, пан Иероним, высланный в город, должен был ещё обеспечить лакомствами и приборами, которые для обычая и тона, для показа гостю достатка нужно было обязательно иметь.

В салончике, в который вошли, была тишина, но вещи, казалось, шумели, будто были друг с другом в несогласии. Дражащий, взволнованный Орбека сел под впечатлением, какое всегда производит на мужчину гнездо женщины, которая его невольно схватила за сердце; в том, что его окружало, читал он историю жизни, глаза и мысль натывались на неприятные признания, а страсть пыталась их объяснить софистично, на красоту и добро, и однако сердце его сжималось. Славский, который первый раз был в жилище экс-подчашинной, находил в нём красноречивые подтверждения своих домыслов. Наполовину издевательская усмешка блуждала по его лицу.

Зашелестело платье, два гостя вскочили, поворачиваясь к двери, но входящая нарядная и красивая пани не была хозяйкой дома. Была это та славная Люльер, немного ветреница, очень ловкое и чрезвычайно милое создание, в тогдашнем обществе такая преобладающая и всеми признанная, сумела себе сделать положение.

Люльер хорошо служила своим соперницам, даже не раз имела такие разветвлённые отношения, такую мягкость и снисходительность, такой дар нравиться, что её все любили, а не раз в очень трудных и важных делах она служила посредником.

Люльер везде принимали и хорошо к ней относились. Находили её в самых высших сферах и самых скромных обществах, служила, бедняжка, ради мира для себя, безнаказанности, снисхождения. Что жило в её душе, на что ей это всё нужно было окупать так дорого? Кто отгадает? Она всегда была такой весёлой, что её следовало подозревать, что в душе должна была иметь покрытую той холодной маской вечную грусть. А исполняла свои обязанности ревностно, сердечно, была на услугах всех дам, даже когда у своих мужей хотели выпросить чего-нибудь, послом, посредницей, почтальоном, корреспондентом, доносчиком, приобретала кредит, ссужала деньги, признавалась в любви отправленным любовникам, прибывала с объявлением об измене к дамам, которых покинули. Люльер была ещё красивой, но этой красотой была обязана уже отчасти искусству и непоколебимому покою, с каким проводила остаток жизни. Она действительно смеялась, оживлялась, возмущалась, личико её иногда деликатно хмурилось, легко румянилось, бледнело, но эти волнения никогда не доходили до глубины. Играла спокойно, зевая, скучая, комедию жизни, равнодушная, опытная, которая давно все сцены знала на память.

Но мы слишком долго задержались на пороге с прекрасной пани, следом за которой прибежал Иероним, адъютант службы хозяйки дома. Какие-то корзиночки и коробочки отдав в прихожей, он появился, точно пришёл первый раз, хотя с десяти утра выполнял свои обязанности.

В салончике немного оживилось, а после десятиминутного ожидания прибежала, наконец, запыхавшаяся, застёгивая на себе кружевные перчатки, прекрасная Мира, с приглашением в гости.

Она была наряжена к лицу, чудесно причёсана и так молода, что Люльер аж вскрикнула, удивлённая, приветствуя её на пороге. Выглядела пятнадцатилетней девочкой. Роза сбоку и роза в волосах не были свежее её. Глазки её светились нетерпением, желаниями, мечтами.

– А! Прошу прощения, стократно прошу прощения у моих милейших гостей, – воскликнула она, после приветствий бросаясь устало на канапе, – но что такое быть хозяйкой дома, когда для этого Господь Бог не создал.

В гостиной было душно, она отворила окно, в чём помогал Иероним, и, ничего не говоря, долгим взглядом изучила Орбеку, как моряк, который опускает лот, проверяя глубину моря, удержится ли на нём корабль.

– Заранее прошу прощения у моих гостей за обед, – добавила она, – я не гнушаюсь добрым обедом, но, увы, сама им даже распорядиться не умею. Не имею к этому таланта хозяйки, которым отличаются иные пани. За готовым сию с удовольствием, но... если бы не милостивый кузен...

Она указала на Иеронима, которому, кажется, дала это имя, чтобы объяснить его положение в доме.

Молодой человек зарумянился, немного смешался, когда в дверях камердинер с салфеткой объявил, что обед был на столе.

Обеспокоенная пани дома минутку постояла, думая, как распорядиться этой церемониальной процессией для еды, не желала уступить Орбеку пани Люльер, а ей нужно было дать, как женщине, первенство, которое предпочла бы признать за своим миллионным невольником.

Она очень ловко из этого выкрутилась.

– Пани Славский, как лучше знакомый, подай руку Лили, я провожу моего земляка.

Славский, послушный, подвинулся к прекрасной скульптуре, уже улыбающейся ему и с грацией подающей руку, пани Мира схватила Орбеку и наклонила своё свеженькое личико к нему, шепча на ухо, обливая своим горячим ароматным дыханием. Бедный человек чувствовал её рядом и дрожал, не мог найти слов, так был опьянён.

За двумя парами тащился с опущенной головой недавно названный кузеном Иероним.

Столовая зала была круглая, украшенная белым с золотом, стол блестел хрусталём, букетами, кое-где показывался дорогой осколок старого серебряного сервиза. Но каждая вещь казалась оторванной от иного целого.

Около Люльер с одной стороны сидел Славский, с другой Орбека, дальше, естественно, Мира, при ней в подручных Иероним.

Обед, несмотря на объявление хозяйки, был изысканный, не готовил его, по правде говоря, Тремо, но первый его ученик, на этот день выпрошенный.

Также опытная рука выбрала вино из лучших погребов столицы, в которой находились погреба, устроенные самым отличным на свете образом. Орбека, который привык к своей жизни анахорета, к стакану воды, а иногда рюмке доброго вина, испугался настойчивости, с какой ему начали наливать и вынуждать пить.

Об этом особенно заботилась прекрасная хозяйка, которая знала, может, что вино делает смелым, что развязывает уста, что быстрее велит биться сердцу – и что после пробуждения человек сохраняет память своих снов. Невозможно было без неучтивости сопротивляться настояниям. Иероним вставал с бутылкой, не отходил от стула, а красивая ручка Мира также с прелестью Гебы наливала нектар.

А! Эта ручка!

Какую очарование и красоту, как будто таинственную, невыразимую силу имеет женская рука! Самая красивая, самая милая из них, если не имеет красивых рук – это создание несовершенное. Рука говорит, рука дополняет изображение характера, рука есть таинственным знаком, который соединяет в себе целое изображение существа.

Стало быть, по-настоящему красивая рука – рука разумная – потому что есть руки разумные, рука нежная – потому что есть нежные, рука величественная, идеальная бывает только уделом очень немногих.

Рука – это генеалогия женщины, свидетельство её прошлого, пророчество её будущей судьбы. В ней от мягкого эпидермиса, что её покрывает, от цвета, что её украшает, от розового ногтя до мельчайшей подробности всё имеет для исследователя непомерное значение. Есть это иероглиф, в котором преобразование одной маленькой черточки изменяет выражение целого. Кажется, что достаточно красивой ручки, чтобы самая отвратительная женщина показалась восхитительной, когда без неё – ангел красоты кажется некрасивым.

Почему Бог в этих пяти пальчиках, прикреплённых к розовой ладони, столько поместил? Это Его тайна.

Постепенно выходя из состояния варварства, человек, когда от механической работы переходит к всё более облагораживающей, – постепенно теряет первичную руку, чуть похожую на расциплённую лапу зверя, на косматый кулак гориллы, и делает руку интеллигентную, руку нежную, ловкую, одновременно сильную и красивую. Только племена, давно образованные, могут иметь эти руки, которые подобает назвать аристократичными, и которые есть руками нервов и разума, потому что рука не приходит сразу, на неё, как на тип лица, работают племена и поколения.

Странная вещь, что в человеке сначала облагораживается облик, сперва хорошеют черты лица, а в конце руки.

Есть целые народы, как немецкий, черты физиономий которых уже цивилизованные, а руки ещё ремесленные и земледельческие.

О людской руке можно бы писать книги; мы не удивляемся вовсе хиромантии, потому что хирогнозию мы считаем наукой, подкрепляющей физиогномику, без которой она полной быть не может. Верно то, что кто руки человека внимательно не осмотрит, тот его ещё не знает. Один ужасно некрасивый палец отталкивает и предостерегает, будет там всё красиво, а что-то искалеченного в характере, где рука ещё калека. Кто над этим когда-либо задумывался, не заподозрил нас в преувеличении.

Руку образованного человека Бог дал как предостережение для людей, чтобы его по ней узнали, весь ли такой, каким кажется.

Мила имела руки чудесные, притягательные, белые, очень маленькие, с длинными пальчиками, с ладонями, точно хной покрашенными в красный цвет, но, всмотревшись в них, ручки эти пугали. Были сухие, холодные, эластичные и без чувства. Хозяюшка, несмотря на старание поддерживать их, не могла сдержаться в минутах нетерпения от грызения и обдирания их немного. Более внимательному это могло бы что-то поведать о характере, но Орбека видел только симпатичный край этих ручек, подвижных, свежих, пухленьких и ловких, как лапки белки.

Неведомо, какие средства в этот день использовала Мира, чтобы стать, как говорила, irresistible, верно то, что была восхитительной, и что по ней не видно было ни малейшего старания, усилия, работы, чтобы понравиться, была чудесно естественной, детски наивной.

Новая Цирцея также сумела опьянить вином и взглядом Орбеку и сделать из него послушное себе создание. Он говорил, улыбался, чувствовал, точно оттаял после долгого прозябания.

Мира немного невежливо забыла обо всех, даже о кузене Иерониме, полностью отдаваясь прибывшему, который в самом деле таких великих стараний не требовал. Бедный человек был уже покорён, связан и приготовлен на безвозвратную гибель. Пани Люльер, которая, несмотря на замечание хозяйки, сделанное перед обедом, очень издали только знала Славского и не чувствовала ни малейшей охоты излишне к нему приближаться, видя себя, наконец,

одинокой, потому что Орбека не говорил с ней даже, поговорила немного с соседом. Иероним забавлялся бутылкой, так как было не с кем.

Сначала пани Люльер немного легко трактовала Славского, полагая, что имеет дело с одним из тех второстепенных существ без интеллекта, разговоры с которым, к каким она привыкла, нельзя будет вести, но после нескольких слов она заметила, что ошибалась. Люльер была созданием поношенным и холодным, но остроумие и разум производили на неё ещё некое впечатление.

Поэтому она с удовольствием повернулась к Славскому, видя, что он её понимает. После нескольких слов наполовину тихо завязался более доверительный разговор.

– Что вы скажете о той паре, так занятой друг другом? – спросила она его через минуту. – Скажите мне, потому что я ничего от неё узнать не могла: давно они знакомы?

– Этот пан, мне кажется, второй или третий раз её видит, – ответил Славский, – но есть фатальности и симпатии.

– А! – рассмеялась Люльер. – Вы верите в эти старые басни? О, мой пане! Эти времена, когда женщина в толпе, не зная мужчину, не зная, кто он, могла вдруг в него влюбиться, – безвозвратно миновали. Так мне кажется. И вы не влюбляетесь, и мы не умеем любить. Новизна имеет минутное очарование, мы как дети ищем игрушку, а, когда, разбив её, в середине найдём ключья или отруби, бросаем.

– Но всегда ли только в игрушках эти вещи находятся? – спросил Славский.

– Почти всегда, – отвечала Люльер. – Но скажи мне, – добавила она очень тихо, – он непомерно богатый?

Славский почти издевательски усмехнулся.

– Если вы только отгадываете, – сказал он, – то у вас пророческий взгляд, едва несколько недель назад он унаследовал огромное состояние.

– А! – воскликнула Люльер и поглядела искоса на Орбеку, как бы сама себя испытывая, сумела бы быть к нему нежной.

Мы уже немного обрисовали нашего героя; был это человек немолодой, никогда нельзя его было назвать красивым, имел, однако, в физиономии что-то грустное, милое и был, что называется, симпатичным. Говорила из неё великая резигнация и мягкость. Впрочем, лицо имел одно из тех, что и в молодости не слишком свежее, и в старости не слишком облачное и увядшее. Сразу он не мог понравиться женщине, но можно было к нему сильно и навеки, имея сердце, привязаться. Орбека был до избытка чувствительным существом, хоть от этой болезни всю жизнь разумом напрасно старался вылечиться.

Так прошёл обед, гастрономическую ценность которого только холодная Люльер, гурманка и знаток, была в состоянии оценить. Другие гости были слишком поглощены. Иероним заедал ревностью, хоть иногда до него долетала улыбка Миры, высланная для смягчения его боли; Славский занимался остроумной соседкой больше, чем тарелками, а об остальном нам говорить не нужно...

Рюмки, ловко меняемые, одни уступали другим, вина смешивались, наконец пришли токай и десерт, и встали от стола в том состоянии возбуждения, веселья, блаженства, к которым всегда приводит добрый обед в приятной компании.

Люльер подала руку Славскому, пожав с дивной улыбкой руку подруги; эта улыбка была такой красноречивой, что Мира зарумянилась, – хозяйку взял сам Орбека. Иероним снова представлял одинокий и грустный арьергард. На утешение он был хорошо захмелевший и как кузен дома (недавно назначенный) по дороге себе позволил напевать.

В салон принесли чёрный кофе в настоящих турецких чашках на филигранных подставках.

Иероним не имел лучшего занятия, как выйти на балкон и облокотиться грустно на его поручни, размышляя о ничтожестве женской любви. Люльер думала, что будет любезной, когда

оттащит Славского; в углу салона остались Орбека и Мира, наполовину заслоненные зелёными вазами. Тихим шёпотом протекал разговор, обоим как-то хорошо было, а столько имели бесконечно интересных вещей для рассказа друг другу.

Затем среди этой блаженной тишины со стороны прихожей долетел шум и непонятный шорох голосов. Какой-то грубый, громкий, охрипший, мужской голос, казалось, спорит со слугами и постепенно приближается к салону. Уже были слышны тяжёлые шаги по полу, страшные, как топот статуи командора в «Дон Жуане».

Мира, всегда чрезвычайно чувствительная, едва это дошло до её уха, побледнела, глаза её заискрились, сорвалась с сидения и побежала к дверям, как бы пытаясь предотвратить какое-то неприятное и не в пору явление.

Но едва пробежала несколько шагов, этот голос дошёл до салона уже отчётливей. Очевидно, хозяйка пыталась избавиться от какого-то навязчивого пришельца, который вламывался силой.

– Но почему же нет входа, дорогая Мирцу, *amour chère!* – воскликнул за теми дверями незнакомый гость.

А через мгновение:

– Ну, что это? Что это? Если бы я был немного захмелевшим, но *je suis de bonne société*, глупости и неприличия не сделаю. Но пустите! Что это! *J'ai donc mes entrées* и не напрасно! Салона от меня защитить не можете, когда...

Тут как бы речь была сдвлена приложенной к устам ладонью, а через мгновение хозяйка убежала в салон, испуганная, пунцовая, и упала при Орбеке на стул.

– А, что за несносная авантюра... – сказала она с поспешностью, – человек... которого терпеть не могу... навязчивый... и всегда во хмелю... и такой грубиян... а, прошу прощения. Но где же Иероним?

Однако, прежде чем Иеронима удалось вызвать с балкона и докончить эти слова, на пороге показалась очень оригинальная фигура.

Был это немолодой мужчина, в парике, на котором качалась несуразно надетая шляпа-треуголка; одетый по-французски, при шпаге, с кружевным жабо, с пальцами, блестящими от перстней, с красным лицом, опухшим, явно спитым, отвисшими губами, слезящимися глазами, настоящий тип старого гуляки. Хотя он опирался на трость с деревянным набалдашником, качался на ногах. Насмешливо зажмуренными глазками он повёл по собранию.

– *Bonsoir la compagnie!* – произнёс он грубым голосом. – А это кто? – спросил он, указывая тростью на Орбеку.

Но, подняв трость, он должен был ухватиться за дверной косяк.

– *Au diable!* Вино великолепное и голову штурмующее не на шутку у этого нашего амфи-триона. *Pardon!* Возвращаюсь с обеда. А, *je viens cuver mon vin chez la bonne petite Mira.*

Говоря это, он как-то дошёл до стула и упал на него всей тяжестью, аж мебель закачалась.

Нетрудно было догадаться, что человек, который в таком состоянии так смело входил к женщине, должен был иметь на это какие-то права. Мира также чувствовала, как её убило это явление спившегося чиновника. Но – был это один из её поклонников, которого некогда, по видимому, хорошо общипала, ещё иногда давал из себя выщипывать по золотому перу. Что же тут было с ним делать?

С чрезвычайной самоуверенностью склонилась Мира к уху Орбеки.

– А! Прошу прощения, пан! Это шамбеляниц, мой кровный, грустный человек, с той фамилией! О, мой Боже! *On abuse de notre faiblesse*, не имела никогда отваги выпроводить его. Это человек, которого ненавижу. Прошу вас, в таком состоянии прийти к женщине!

Орбека, уже ослеплённый, мог только соболезновать судьбе Мира, но не вчитывался в глубину этой катастрофы.

Тем временем притянутый Иероним вышел с балкона и, может, не без некоторого чувства удовлетворённой мести увидел шамбеляница, которого случай привёл, чтобы расколдовать так сильно околдованного Орбеку. Пришедший заметил его.

– А! Ты также тут? Правда! Ты тут теперь на службе! Где же *la petite*? Кто там с ней? *C'est du nouveau*?

Он покачал головой.

– Мирцу, – откликнулся он, – всё-таки когда приходит старый приятель, из памяти, если не к его сердцу, то к его опорожнённому кошельку, стоит ему улыбнуться. *O est-elle?* За вазонами. Знаю этот уголок, но мне там бывало тесно.

Люльер, сначала также немного посмеявшись этой авантюре, сжалилась над подругой. Грубый гость поглядел на неё, она погрозила ему на носу.

– А! Ты тут! Прошу прощения, не заметил, – махнул себя по голове. – Однако же я вошёл в шляпе, но мне тут всё можно. *Mira est une bonne petite*.

– Но тихо, ради Бога, – топая ногой, произнесла Люльер, – уважайте...

– Ну, что мне уважать? Гм? Тебя? *Farceuse*? Или её? Или тех, что бывают? *Pardon!*

– Шамбелянцу! – крикнула Люльер. – *Je vous ferai mettre á la pörte*.

– Ну, попробуйте, на это нужны четыре человека, а столько у вас нет, пожалуй, взяли бы где-нибудь взаймы.

– Что же с тобой стало? – спросила Люльер. – Обезумел что ли?

– Но нет. Я был на обеде у Н. Ха! Был ли это только обед? Нет! Это был завтрак, да, и мы пили... напивались... Выходя оттуда... Кто же меня сюда привёз? А! Приятель... Я подумал, куда пойти; домой не к спеху. Сын мог мне выдумать ту штуку, что Хам Ною, я был бы вынужден его проклинать, а это неприлично. Думаю, а куда же, если не к той маленькой Мирци, которую люблю. А! Слово чести, сегодня мою любовь чувствую помолодевшей...

Люльер дёрнула его за рукав и оторвала кружева. Тот посмотрел на рваные манжеты.

– Ты не права, что испортила мои брабанты, которые дорого стоят. Лулу, дай же мне хоть ручку, когда Мира занята! Ну, дай! Не знаешь, как после вина пахнут женские пальчики. Ну дай! Не укушу!

Люльер, смеясь, подала ему руку, а старик прилип к ней и вздохнул, потом голова медленно склонилась на грудь, руки опустились на подлокотники и, погружаясь в кресло с улыбкой на устах, – уснул.

Иероним поглядывал на это равнодушно, Славский с презрением, которого вовсе не думал скрывать, Люльер с каким-то насмешливым состраданием. Бедная хозяйка плакала, а эти слёзы из глазок, минутой назад блестящих кокетством и весельем, разоружили Орбеку, который всего значения происшедшего в простоте душевной даже не понял.

Видя общую озабоченность, Славский взялся за шляпу и кивнул приятелю, ему казалось самой подходящей вещью как можно скорее уйти и избежать новой истории за обедом.

Но этот спешный уход и по такому поводу смешивал все планы Миры. У Миры заранее уже был составлен весь план, на после обеда были заказаны кони для прогулки в Виланов, на завтра тоже какая-то партия будто бы сама намечалась в Виланове, и так далее.

Затем вдруг прибытие пьяного Адониса позорило её дом, отталкивало человека, для которого хотела выступить во всём блеске и очаровании, раскачало ледяной замок.

Но что же было делать? Удержать казалось опасным, убежать самой из дома – не очень приличным.

– Моя дорогая, – шепнула ей Люльер, приближаясь к заплаканной, – я имею тебе что-то предложить: оставим тут этого грубияна, пойдём, езжай со мной, я договорилась с судьёй С, что встретимся там вечером. Не смею предлагать этим господам, – добавила Люльер, – но если бы были так любезны, то нас бы сопровождали, потому что бедный Иероним останется на страже циклопа, чтобы, проснувшись, не побил тут всё.

Славский поглядел на Орбеку, тот был грустный; не то, чтобы это его поразило, потому что страсть есть наибольшим из софистов, но страдал над досадой, какую испытала Мира, а готов был для утешения её не в Виланов, а в Америку с ней плыть.

– Если пан Орбека хочет ехать, я не препятствую, но меня, дамы, простите, потому что я человек работы, подневольный, и как раз должен...

Орбека поглядел на него, но Славский был невозмутим, пожал приятелю руку с улыбкой и сказал потихоньку:

– Тебя уже, по-видимому, не спасу, – сказал он, – но признаюсь тебе, что меня это утомляет. Я нужен тебе на что-нибудь?

Орбека шепнул:

– Но ты был бы мне очень приятен. Ещё тише спросил Славский:

– Ты там нужен на что-нибудь? Ты ещё мог бы и имел повод отступить. Мой Валентин...

– Но, пан, не баламуть нам пана Орбеку, – шепнула умоляюще Мира, которая плохое впечатление последних минут обязательно хотела исправить поездкой, – прошу вас.

– О! Нет, нет! – сказал Славский весело. – Говорю о делах. Я знаю, что Орбека из-за чрезвычайно важных дел должен был ехать во Львов.

– Но какие же дела могут быть важнее просьбы красивой женщины? – спросила Люльер. Славский поклонился.

Они потихоньку вышли из салона, в котором над спящим шамбелеяницей стоял Иероним, раздумывая, какой ему штукой отплатят, и сошли по лестнице. Славский снова вёл Люльер, которая, глядя на Лакедемончика, улыбалась, а Мира свои слёзы и горе выливали на лоно нового приятеля.

Орбека был уже так слеп, что, кроме этих слёз, кроме этого горя и мучений, ничего не видел, не слышал ничего, и готов был на самые большие жертвы, чтобы вытереть эти заплаканные глаза.

ROZDZIAŁ VII

Это старая как мир история, грустная как могила... Вспомните Клеопатру, которую невольники приносят завёрнутую тому, которого решила очаровать; Далилу и Самсона, Омфалу и Геракла, и тысячи других классических и неклассических повестей, в которых женщина клала побеждённым у своих ног заранее предупреждённого о её легкомыслии мужчину. Что говорить, когда этот мужчина ни Самсон, ни Геракл, ни Цезарь? Ибо нет ничего более слабого, чем мужчина, которому улыбнётся это счастье, что зовётся любовью, и чаще всего... Вы, наверное, видели в лесах южных стран, на стенах и руинах любовные плющи, опоясывающие стволы, покрывающие руины? Как же нежно обвиваются они на груди своих возлюбленных! Увы! Деревья сохнут в этих объятиях и стены крошатся.

А на верху зеленеет плющ, как красиво поведал Фредро.

Хотя старая это история – того плюща и тех, прошу прощения, стволов, она не менее психологически интересна.

Каждая из таких историй имеет свои новые стороны, что-то, чем от иных отличается, что добавляет к общей истории... любви.

Нам также кажется, что и в той, которую мы рассказываем, найдутся достаточно интересные отступления – хоть, может быть, не так удачно представленные, как мы желали бы.

Прогулка в Виланов, хоть Мира по поводу шамбеляница была раздражённая и гневная в душе, принесла предвиденный эффект. Раздражение делало её более живой, более смелой, более странной, а фантазия и отвага никогда красивой женщине ущерба не наносят.

С этого события она взяла повод, говоря по-стародавнему, для жалоб на Варшаву, столицу, её общество, людей, и отвращение, какое к ним показывала, всё обратилось на пользу Орбеки. Он был жителем деревни.

Люльер только раз прервала её, тихо прошептав:

– Но, жизнь моя, всё-таки если бы тебе приказали закопаться на деревне, лоя тебя на слове?..

Мира сделала вид, что не слышит.

Поздним вечером, отправив около Мокотова коней, они вернулись пешком, не спеша, в Варшаву. Орбека проводил их до дверей дома. Тут уже должны были расстаться, Люльер шла впереди на лестницу, когда хозяйка повернулась к Орбеке.

– Когда увидимся? – спросила она. – Ведь ты должен чувствовать, как я, что мы должны видиться и видиться. Значит, когда? Где?

Было это так неловко, но разве самолюбие не объяснит всегда похвальной неловкость?

– Я должен ехать во Львов? – сказал несмело Валентин.

– Во-первых, что за должен? Есть люди, созданные для дел, пусть они за нас их делают, во-вторых, если бы уж была необходимость, то ты вернёшься. Когда? Скоро?

– Но, не знаю в самом деле.

– Знаешь что, останься.

– Не знаю, – колеблясь, добавил Орбека.

– Люльер от меня убежала, а так была рада с тобой поговорить. Ты пришёлся мне по сердцу. А! Стыжусь, что это говорю, но... не принимай же этого за зло. Завтра, вечером, буду в Мнишковском Саду, приезжай, пан, ведь завтра уехать не можешь.

Так они расстались, но Орбека уже был рабом.

Простая, холодная рассудительность показывала ему эту женщину, какой она была, рисовала её, дом, окружение, общество, Люльер. Этот Иероним, этот шамбеляниц, весь тон, речь, настойчивость... нужно было быть слепым, чтобы не догадаться о прошлом, часть которого

заходила на настоящее, и однако, однако, Орбека, слабый, всё себе сумел объяснить с хорошей стороны.

Славский на следующий день не пришёл к нему, так был уверен, что там со своим холодным рассуждением и советами ни на что не пригодится. Это задело Орбеку, но пошёл вечером в Сад, и до поздней ночи остался на разговоре с Мирой, которая так вела дела, что всё ближе, с чрезвычайной ловкостью приближалась к нему. Была она уже так уверена в себе и победе, что с утра этого дня, неизвестно, под каким предлогом, отказала в доме Иерониму, бедному юноше, который служил ей как пёсик и до рубашки разорился ради неё. Хотя она назвала его кузеном, чувствовала, что присутствие этого родственника будет ей мешать, раздражать, отбивать и отталкивать Орбеку.

При расставании с Иеронимом было всё, что присуще разрывам этого рода: слёзы, отговорки, гнев, примирение, ручательства в нерушимой привязанности, признания, просьбы. Иероним, который думал, что был любим, вышел из этого испытания пришибленный, измученный, потеряв интерес ко всей жизни, и в тот же день выехал их Варшавы, дольше в ней жить не в состоянии.

Площадь для нового здания была очищена, ловкая пани даже так распорядилась, чтобы иметь как можно меньше гостей, хотела полностью отдаться великому интересу – ибо был это для неё только интерес, ничего больше.

Сердце не принимало в этом ни малейшего участия, затронулось бы, может, если бы встретило трудности для борьбы, но у неё шло аж до избытка легко; если какое чувство и пробудилось в ней к Орбеке, то, пожалуй, сострадание.

В этот вечер из Сада она велела ему проводить её до дома. У лестницы он хотел с ней проститься, но шли вместе, подавал ей руку, разговор был непомерно оживлённым. На пороге та же история, в салоне просила его отдохнуть; потом почувствовала себя голодной, приказала подать ужин, приглашая на него гостя. Вино снова в нём играло некоторую, хоть второстепенную роль. А потом как-то так вязались, плыли, выплёскивались одни за другими рассказы, что, сидя рядом друг с другом, одни, вдвоём, забылись до полуночи. С балкона видна была луна и деревья, ночь была весенняя, чудесная.

Такие минуты никогда не забываются. Орбека вышел размышлявший, пьяный, ослабленный, так, что уже о Львове не думал, решил послать доверенное лицо, а сам поселиться в своём доме на Подвале.

На четвёртый или пятый день Мира пошла с паном Валентином, вот так, из любопытства только, посмотреть, как выглядит тот его дом, и нашла его старым, улицу неприятной, а тут как раз выдалась единственная возможность. После пана С. продавали дворец в Краковском предместье за несколько тысяч, за бесценок.

– Если бы ты его купил, я бы у тебя сразу сняла первый этаж. Представь себе, как бы приятно мне было, ты мог бы поселиться внизу, постоянно был бы ко мне близко, а я такая бедная, недотёпа, что без чьей-либо опеки никогда обойтись не могу.

Орбека смолчал, но спустя неделю дом на Подвале был продан за бесценок, а дворец куплен достаточно дорого; прекрасная пани хлопнула в ладоши, узнав об этом, хотела сразу въехать, но новый владелец просил повременить. Камсетшер обновил и украсил для неё первый этаж, послали за мраморным камином в Италию, за обоями – в Париж, за мебелью – в Вену.

Орбека сразу устыдился своей слабости, но стыд этого рода не продолжается долго, человек осваивается с положением, объясняет себе, лжёт, оправдывая себя ошибками других и... потом... уже с лица сотрёт остатки девичьего срама. Славский отстранился от него, других знакомых он почти не имел, легче ему было в этом одиночестве с ней. Мира же не спешила ради него завязывать отношения, чтобы никто таким лёгким, как ей казалось, человеком не воспользовался.

С чрезвычайной ловкостью, с непомерным инстинктом она постепенно обвивала его сетями. Поддельная великая скромность и боязливость были одним из средств, которые использовала. Орбека не мог ни на шаг продвинуться дальше того, что ему было дозволено при первом знакомстве. Когда весь город считал его за близкого друга Миры, он был только самым близким её слугой. С несмелой натурой, уважающий женщину, он не имел отваги продвинуться на шаг дальше, эта чистая любовь была ему милее всего, а Мира хорошо рассчитывала, что лёгкой для него быть не должна.

Тем временем она старалась утвердить свою власть, а иногда пробовала немного капризы, также очень дестивные.

Из прошлой жизни остались ей, кроме неудобных знакомств, таких, как, например шамбеляниц, ещё более страшные долги. Даже во времена наивысшей своей красоты Мира без них как-то обойтись не могла. Было это тогда в хорошем тоне – иметь долги. Купцы охотно давали кредит. Но когда суммы увеличивались, а ничего не плыло, начинали быть докучливыми. Во время знакомства с Орбекой Мира была в довольно неприятном положении по этой причине; напоминали, преследовали её, должна была закрывать двери, но когда разошлась новость, что крупный зверь снова попался в сети, кредиторы притихали, не желая мешаться.

Некоторые, однако, рассчитав время, прикинув обстоятельства, постепенно появлялись снова. Мира не знала уже, как от них избавиться, а не хотела ещё ничего требовать от Обеки, ждала... Он на самом деле был очень услужливым, но она не изучила ещё, какое впечатление на него произведёт сдирание живьём кожи.

Одним из самых ловких и докучливых кредиторов был пан Джоли, экс-француз, модный ювелир, человек, который и в кредит давал бриллианты не самой первой моды, и выкупал за бесценок драгоценности, и деньгами ссужал, и служил посредником в многочисленных деликатных делах.

Джоли, который прибыл в столицу как челядник сорок лет назад, было лет шестьдесят, но ещё был красивый, элегантный и очень живой. Его тучность немного мешала, но чересчур ловко её носил и крепко.

Джоли был в очень близких отношениях с Мирой. Неизвестно, с каких расчётов следовало ему несколько сот дукатов, в доме их не было и двадцати, а доход на три года вперёд был давно съеден.

Одного утра Джоли, которого много раз уже под видом мигрени, прогулки, сна, гостей и т. п., она отправляла от дверей, в этот раз в них долбил достаточно резко. Час был ранний, Мира велела его впустить. Она лежала, свернувшись клубком на канапе, на двух розовых лапках держа не менее розовое лицо. Укладывали её светлые распущенные волосы, она была похожа на херувима.

Восхищённый Джоли остановился на пороге.

– Пани графиня, если долгов не платите, то сами виноваты; как можно, будучи такой чудесно красивой, не иметь миллионов для разбрасывания?

Эта лесь была в то же время нахальством, но кредиторам многое прощается, а лесь как фимиам всегда по вкусу, хоть не очень подобранная.

– Какой ты скучный, мой Джоли, – отвечала Мира, – ради жалких нескольких сот дукатов так мне покоя не даёшь, когда ты у меня тысячи заработал.

– Но, дорогая пани графиня, – сказал Джоли, беря стул и садясь без церемонии, – тут дело идёт не столько об оплате, сколько о договорённости.

– О какой?

– Я хотел знать, что с вами делается. Какие виды? Может, если бы ничего не было, то бы всё-таки что-то нашлось.

– Но оставь меня в покое, – румянясь, отпарировала эксподчашина. – Мне кажется, что иду замуж... и богато.

– А! За кого?

Она тихонечко шепнула ему: «За Орбеку».

– Не знаю, – сказал Джоли, но после минуты раздумья и брошенных вопросов, оказалось, что знал, о ком речь.

– Какую бы ты мог мне великую оказать услугу, а может, одновременно и себе, – шепнула после минутного раздумья Мира. – Много ли тебе причитается?

Джоли достал портфель и прочитал 300 и 256 дукатов.

– Слушай и пойми меня хорошо, – начала она говорить потихоньку с искрящимися глазками. – Тебе следует пятьсот пятьдесят дукатов.

– И шесть, – добавил Джоли.

– Я тебе выдам квитанцию на шестьсот пятьдесят.

– А сто нужно добавить? – прервал холодно ювелир. – Но не имею, слово чести, не имею.

– А! Нет, – смеясь, воскликнула Мира. – Орбека купил дворец после пана С. Первый этаж заняла я, он живёт внизу. Если бы вы пошли с расчётом, так немного резко напирая, будто бы по ошибке, к нему. Вам нет необходимости говорить, что нужно и меня там в розовом и чёрном цвете обрисовать и... в то же время испробовать, какой это человек для дел. *S'il lâche son argent facilement; ou...*

– О! О! Я понимаю и принимаюсь, – сказал ювелир, – завтра утром дам вам ответ.

Мира хотела его снабдить более обширными инструкциями, но пан Джоли почти этим обиделся, и заверил, что справится, и ни в коем разе ущерба не сделает. Сказав это, он вышел.

Можно себе представить, с каким нетерпением ожидала Мира новостей об обороте этих деликатных переговоров, которые начала для проверки грунта. Какой-то дивной случайностью выпало, что этого дня Орбека, который бывал часто по несколько раз, а всегда почти хоть на минуту должен был каждый день видеть Миру, не пришёл.

Поэтому она допускала, что проверка не удалась, что долг мог устроить либо оттолкнуть Орбеку, что вся её работа была обращена в ничто. Под вечер разболелась её голова, а когда подошла Люльер, хоть ей ни в чём не признавалась, ловкая придворная легко могла понять по лицу Миры, что её угнетает какого-то беспокойство.

Но узнать не могла. Её это сильно заинтриговало, исследовала, однако, напрасно. Мира сбывала ни тем, ни этим, жалуясь на свет и людей.

Ночь прошла беспокойно, долгое утро было мучительным, в одиннадцать объявили приход пана Джоли. Мира бросилась ему навстречу. Ловкий дипломат имел мраморное лицо, почти ничего из него вычитать было невозможно.

– Что же ты сделал? Говори, что сделал? – воскликнула она порывисто.

– Но, сначала нужно знать, сделал ли я что-нибудь? – отпарировал с улыбкой ювелир.

– Ты безжалостен! Как же это было?

– План, отлично составленный вами, был выполнен с интеллигентностью, – сказал медленно ювелир. – Я пошёл во дворец кислый, нетерпеливый; я говорил в сенях так долго, что, наконец, выманил хозяина. Я сказал ему, что ищу вас, что имею дело, не терпящее отлагательств.

Он начал меня деликатно расспрашивать. Я поведал ему, естественно, на вас жалуясь, что вы из-за вашей благотворительности и посвящения другим вечно попадаете в хлопоты, я поведал, что вы мне должны, но добавил, что вы поручились за бедную семью и т. п.

– А, это отлично! А что же он?

– Спросил о величине долга, холодно. Я начал ему ещё говорить о вас, малюя, как был должен, он, казалось, колебался, потом, умоляя меня о самом строгом секрете, бумажку вашу взял и заплатил векселем на Кабрита.

Будучи у Кабрита, я убедился, что у него лежат там *excusez du peu* пятьдесят тысяч дукатов, но Кабрит мне говорил, что все голые магнаты, унюхав эти деньги, уже на часах. Если

бы вы хотели меня послушать и вывезти его отсюда... потому что его, несомненно, оберут, а эта операция, – добавил Джоли с поклоном, – должна быть предоставлена вашим красивым ручкам.

Мира улыбнулась, сердечно поблагодарила Джоли, который наговорил ей любезностей, остроумий и, наконец, ушёл. Орбека пришёл поздно, но в хорошем настроении, с привычной своей покорностью и мягкостью. Мира уже знала, что щипать его можно безнаказанно, была спокойной. День прошёл в домашней тишине на сладких беседах. Орбека остался до вечера. Немного выводило из себя прекрасную пани то, что, дойдя до положения друга дома, иного, казалось, не желает, не надеется. Был несмелый и простодушный аж до смущения, трудно было бедной женщине самой броситься ему на шею.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.